



ЖАН ПОЛЬ

САРТР

СМЕРТЬ В ДУШЕ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КЛАССИКА (АСТ)

Жан-Поль Сартр

Смерть в душе

«Издательство АСТ»

1949

УДК 821.133.1-2
ББК 84(4Фра)-44

Сартр Ж.

Смерть в душе / Ж. Сартр — «Издательство АСТ»,
1949 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-093537-6

«Смерть в душе» – третий роман после «Возраста зрелости» и «Отсрочки» в трилогии Сартра «Дороги свободы». Временем действия этого произведения стал один из самых горьких и трагических периодов французской истории – лето 1940 г., когда французская армия потерпела разгромное поражение от немецко-фашистских войск и вся страна, растерянная и деморализованная, будто застыла в приступе кататонии, не понимая, как жить и что делать теперь. С горечью осознает главный герой романа, университетский преподаватель Матье, сколь ничтожны его рефлексии и его поиски личной свободы перед лицом национальной катастрофы, – но постепенно понимает, что именно это духовное чистилище может закалить его и принести ему новый смысл жизни... В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 821.133.1-2

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-17-093537-6

© Сартр Ж., 1949
© Издательство АСТ, 1949

Содержание

Часть первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Жан Поль Сартр

Смерть в душе

Jean-Paul Sartre

LA MORT DANS L'ÂME (LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ III)

Перевод с французского *Д. Вальяно, Л. Григорьяна*

Печатается с разрешения издательства Editions Gallimard.

© Editions Gallimard, Paris, 1949

© Перевод. Л. Григорьян, наследники, 2013

© Перевод. Д. Вальяно, наследники, 2013

© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

Часть первая

Нью-Йорк, 9 часов утра, суббота, 15 июня 1940 г.

Спрут? Он взял нож, открыл глаза, это был сон. Нет. Спрут был здесь, он его всасывал своими щупальцами: жара. Он потел. Он уснул к часу ночи; в два часа жара его разбудила, весь в поту, он бросился в холодную ванну, затем, не вытираясь, снова лег: и сразу же после этого под его кожей опять загудела кузница, его снова бросило в пот. На заре он уснул, ему снился пожар, теперь солнце, конечно, было уже высоко, а Гомес все потел: он без передышки потел уже двое суток. «Боже мой!» – вздохнул он, проводя влажной рукой по мокрой груди. Это была уже не жара; это была болезнь атмосферы: у воздуха была горячка, воздух потел, и ты потел в его поту. Встать. Лучше уж потеть в рубашке. Он встал. «*Hombre!*¹ У меня кончились рубашки!» Он промочил последнюю, голубую, так как вынужден был переодеваться дважды в день. Теперь кончено: он будет напивать эту влажную вонючую тряпку, пока белье не вернется из прачечной. Он осторожно встал, но не смог избежать водопада, капли катились по бокам, как вши, они его щекотали. Изжеванная рубашка, в сплошных складках, на спинке кресла. Он ее пощупал: ничто никогда не высыхает в этой бледской стране. Сердце его коло-тилось, горло одеревенело, словно он накануне напился.

Он надел брюки, подошел к окну и раздвинул шторы: на улице свет, белый, как катастрофа; и впереди еще тринадцать часов света. Он с тревогой и гневом посмотрел на мостовую. Та же катастрофа; там, на жирной черной земле, под дымом, кровью и криками; здесь, между красными кирпичными домиками свет, именно свет и обильный пот. Но это была *та же самая* катастрофа. Смеясь, прошагали два негра, женщина вошла в аптеку. «Боже мой! – вздохнул он. – Господи!» Он видел, как кричали все эти краски: даже если бы у меня было время, даже если бы у меня было настроение, как можно рисовать с этим светом! «Господи! – повторил он. – Господи!»

Позвонили. Гомес пошел открывать. На пороге стоял Ричи.

– Убийственно, – входя, сказал Ричи.

Гомес вздрогнул:

– Что?

– Эта жара: убийственно. Как, – с упреком добавил он, – ты еще не одет? Рамон ждет нас к десяти часам.

Гомес пожал плечами:

– Я поздно заснул.

Ричи, улыбаясь, посмотрел на него, и Гомес живо добавил:

– Слишком жарко. Я не мог уснуть.

– Первое время всегда так, – снисходительно сказал Ричи. – Потом привыкнешь. – Он внимательно посмотрел на него. – Ты принимаешь солевые пилюли?

– Естественно, но толку никакого.

Ричи покачал головой, и его доброжелательность отделилась строгостью: солевые таблетки должны были мешать потеть. Если они не действовали на Гомеса, значит, он был не таким, как все.

– Но позволь! – сказал он, хмуря брови. – Ты ведь должен быть натренирован: в Испании тоже жарко.

¹ Вот это да! (исп.)

Гомес подумал о сухих и трагических утрах Мадрида, об этом благородном свете над Алькалой, в котором была еще надежда; он покачал головой:

– Это не та жара.

– Менее влажная, да? – с некоей гордостью спросил Ричи.

– Да. И более человечная.

Ричи держал газету; Гомес протянул было руку, чтобы взять ее, но не осмелился. Рука опустилась.

– Нынче большой день, – весело сказал Ричи, – праздник Делавэра. Ты знаешь, я ведь из этого штата.

Он открыл газету на тринадцатой странице; Гомес увидел фотографию: мэр Нью-Йорка Ла Гардиа пожимал руку толстому мужчине, оба самозабвенно улыбались.

– Этот тип слева – губернатор Делавэра, – пояснил Ричи. – Ла Гардиа принял его вчера в World Hall². Это было превосходно.

Гомес хотел вырвать у него газету и посмотреть на первую страницу. Но подумал: «Плевать» – и прошел в туалет. Он пустил в ванну холодную воду и быстро побрился. Когда он залезал в ванну, Ричи ему крикнул:

– Как ты?

– Исчерпал все средства. У меня больше нет ни одной рубашки, и осталось всего восемнадцать долларов. И потом, в понедельник возвращается Мануэль, я должен вернуть ему квартиру.

Но он думал о газете: Ричи, ожидая его, читал; Гомес слышал, как он шелестит страницами. Он старательно вытерся; все напрасно: вода сильно намочила полотенце. Он с дрожью надел влажную рубашку и вернулся в спальню.

– Матч гигантов.

Гомес непонимающе посмотрел на Ричи.

– Вчерашний бейсбол. «Гиганты» выиграли.

– Ах да, бейсбол...

Гомес наклонился, чтобы зашнуровать туфли. Он снизу пытался прочесть заголовок на первой странице. Наконец он спросил:

– А что Париж?

– Ты не слышал радио?

– У меня нет радио.

– Кончен, пропал, – мирно сказал Ричи. – Они вошли туда сегодня ночью.

Гомес направился к окну, прильнул лбом к раскаленному стеклу, посмотрел на улицу, на это бесполезное солнце, на этот бесполезный день. Отныне будут только бесполезные дни. Он повернулся и тяжело сел на кровать.

– Поторопись, – напомнил Ричи. – Рамон не любит ждать.

Гомес встал. Рубашка уже вымокла насквозь. Он пошел к зеркалу завязать галстук:

– Он согласен?

– В принципе – да. Шестьдесят долларов в неделю за твою хронику выставок. Но он хочет тебя видеть.

– Увидит, – сказал Гомес. – Увидит.

Он резко обернулся:

– Мне нужен аванс. Надеюсь, он не откажет?

Ричи пожал плечами. Через некоторое время он ответил:

² Всемирный зал (англ.).

– Я ему говорил, что ты из Испании, и он опасается, как бы ты не оказался сторонником Франко; но я ему не сказал о... твоих подвигах. Не говори ему, что ты генерал: неизвестно, что у него на душе.

Генерал! Гомес посмотрел на свои потрепанные брюки, на темные пятна, которые пот уже оставил на рубашке. И с горечью проговорил:

– Не бойся, у меня нет желания хвастаться. Я знаю, чего здесь стоит, что ты воевал в Испании: вот уже полгода, как я без работы.

Казалось, Ричи был задет.

– Американцы не любят войну, – сухо пояснил он.

Гомес взял под мышку пиджак:

– Пошли.

Ричи медленно сложил газету и встал. На лестнице он спросил:

– Твоя жена и сын в Париже?

– Надеюсь, что нет, – живо ответил Гомес. – Я очень надеюсь, что Сара сообразит бежать в Монпелье.

Он добавил:

– У меня нет о них известий с первого июня.

– Если у тебя будет работа, ты сможешь их вызвать к себе.

– Да, – сказал Гомес. – Да, да. Посмотрим.

Улица, свертание окон, солнце на длинных плоских казармах из почерневшего кирпича без крыши. У каждой двери ступеньки из белого камня; марево зноя со стороны Ист-Ривер; город выглядел хиреющим. Ни тени: ни на одной улице мира не чувствуешь себя так ужасно, весь на виду. Раскаленные добела иголки вонзились ему в глаза: он поднял руку, чтобы защититься, и рубашка прилипла к коже. Он вздрогнул:

– Убийственно!

– Вчера, – говорил Ричи, – передо мной рухнул какой-то бедняга старик: солнечный удар. Брр, – поежился он. – Не люблю видеть мертвых.

«Поезжай в Европу, там насмотришься», – подумал Гомес.

Ричи добавил:

– Это через сорок кварталов. Поедем автобусом.

Они остановились у желтого столба. Молодая женщина ждала автобус. Она посмотрела на них опытным угрюмым взглядом, потом повернулась к ним спиной.

– Какая красotka, – ребячески заметил Ричи.

– У нее вид потаскухи, – с обидой буркнул Гомес.

Он почувствовал себя под этим взглядом грязным и потным. Она не потела. Ричи тоже был розовым и свежим в красивой белой рубашке, его вздернутый нос едва блестел. Красавец Гомес. Красавец генерал Гомес. Генерал склонялся над голубыми, зелеными, черными глазами, затуманенными трепетом ресниц; потаскуха увидела только маленького южанина с полсотней долларов в неделю, потеющего в костюме из магазина готового платья. «Она меня приняла за даго»³. Тем не менее он посмотрел на красивые длинные ноги и снова покрылся потом. «Четыре месяца, как я не имел женщины». Когда-то желание пылало сухим солнцем у него в животе. Теперь красавец генерал Гомес упивался постыдными и тайными вожделениями зрителя.

– Сигарету хочешь? – предложил Ричи.

– Нет. У меня горит в горле. Лучше б выпить.

– У нас нет времени.

Он со смущенным видом похлопал его по плечу.

³ Мексиканец (амер. жаргон).

– Попытайся улыбнуться, – сказал он.

– Что?

– Попытайся улыбнуться. Если Рамон увидит у тебя такую физиономию, ты нагонишь на него страх. Я не прошу тебя быть подобострастным, – живо добавил он в ответ на недовольный жест Гомеса. – Войдя, ты приклеишь к губам совершенно нейтральную улыбку и там ее и забудешь; в это время ты можешь думать о чем хочешь.

– Хорошо, я буду улыбаться, – согласился Гомес.

Ричи участливо посмотрел на него.

– Ты тревожишься из-за сына?

– Нет.

Ричи сделал тягостное мыслительное усилие.

– Из-за Парижа?

– Плевать мне на Париж! – запальчиво выкрикнул Гомес.

– Хорошо, что его взяли без боя, правда?

– Французы могли его защитить, – бесстрастно ответил Гомес.

– Ой ли! Город на равнине?

– Они могли его защитить. Мадрид держался два с половиной года...

– Мадрид... – махнув рукой, повторил Ричи. – Но зачем защищать Париж? Это глупо. Они бы разрушили Лувр, Оперу, собор Парижской Богоматери. Чем меньше будет ущерба, тем лучше. Теперь, – с удовлетворением добавил он, – война закончится скоро.

– А как же! – насмешливо подхватил Гомес. – При таком ходе событий через три месяца воцарится нацистский мир.

– Мир, – сказал Ричи, – не бывает ни демократическим, ни нацистским: мир – это просто мир. Ты прекрасно знаешь, что я не люблю гитлеровцев. Но они такие же люди, как и все остальные. После завоевания Европы у них начнутся трудности, и им придется умерить аппетиты. Если они благоразумны, то позволят каждой стране быть частью европейской федерации. Нечто вроде наших Соединенных Штатов. – Ричи говорил медленно и рассудительно. Он добавил: – Если это помешает вам воевать предстоящие двадцать лет, это уже будет достижением.

Гомес с раздражением посмотрел на него: в серых глазах была огромная добрая воля. Ричи был весел, любил человечество, детей, птиц, абстрактное искусство; он думал, что даже с грошовым разумом все конфликты будут разрешены. Он не особенно почитал эмигрантов латинской расы; он больше ладил с немцами. «Что для него падение Парижа?» Гомес отвернулся и посмотрел на разноцветный лоток продавца газет: Ричи вдруг показался ему безжалостным.

– Вы, европейцы, – продолжал Ричи, – всегда привязываетесь к символам. Уже неделя, как все знают, что Франция разбита. Ладно: ты там жил, ты там оставил воспоминания, я понимаю, что это тебя огорчает. Но падение Парижа? Что это значит, если город остался цел? После войны мы туда вернемся.

Гомес почувствовал, как его приподнимает грозная и гневная радость:

– Что это для меня значит? – спросил он дрожащим голосом. – Это мне доставляет радость! Когда Франко вошел в Барселону, французы качали головами, они говорили, что это прискорбно; но ни один не пошевелил и мизинцем. Что ж, теперь их очередь, пусть и они свое отведают! Это мне доставляет радость! – крикнул он в грохоте автобуса, который остановился у тротуара. – Это мне доставляет радость!

Они вошли в автобус за молодой женщиной. Гомес сделал так, чтобы при посадке увидеть ее подколенки; Ричи и Гомес остались стоять. Толстый мужчина в золотых очках поспешно отодвинулся от них, и Гомес подумал: «От меня, вероятно, пахнет». В последнем ряду сидячих мест один человек развернул газету. Гомес прочел через его плечо: «Тосканини устроили овацию в Рио, где он играет впервые за пятьдесят четыре года». И ниже: «Премьера в Нью-Йорке:

Рей Милланд и Лоретта Янг в «Доктор женится». Там и тут другие газеты расправляли крылья: Ла Гардиа принимает губернатора Делавэра; Лоретта Янг, пожар в Иллинойсе; Рей Милланд; муж полюбил меня с того дня, как я пользуюсь дезодорантом «Питс»; покупайте «Крисаргил», слабительное медовых месяцев; мужчина в пижаме улыбался своей молодой супруге; Ла Гардиа улыбался губернатору Делавэра; «Шахтеры кусок пирога не получают», заявляет Бадди Смит. Они читали; широкие черно-белые страницы говорили им о них самих, об их заботах, об их удовольствиях; они знали, кто такой Бадди Смит, а Гомес этого не знал; они поворачивали к солнцу, к спине водителя большие буквы: «Взятие Парижа» или же «Монмартр в огне». Они читали, и газеты голосили в их руках, но их никто не слушал. Гомес почувствовал, как он постарел и устал. Париж далеко; среди ста пятидесяти миллионов он был один, кто им интересовался, это была всего лишь небольшая личная проблема, едва ли более значимая, чем жажда, раскаляющая ему горло.

– Дай мне газету! – сказал он Ричи.

Немцы занимают Париж. Наступление на юге. Взятие Гавра. Прорыв линии Мажино.

Буквы кричали, но три негра, болтавшие позади него, продолжали смеяться, не слыша этого крика.

Французская армия невинна. Испания захватила Танжер.

Мужчина в золотых очках методично рылся в портфеле, он вынул из него большой ключ, который удовлетворенно рассматривал. Гомесу стало стыдно, ему хотелось сложить газету, как будто там бесстыдно разглашались его самые сокровенные тайны. Эти отчаянные вопли, заставляющие дрожать его руки, эти призывы о помощи, эти хрипы были здесь слишком неуместны, как его пот иностранца, как его слишком сильный запах.

Обещания Гитлера подвергаются сомнению; президент Рузвельт не верит, что... Соединенные Штаты сделают все возможное для союзников. Правительство Его Величества делает все возможное для чехов, французы сделают все возможное для республиканцев Испании. Перевязочные материалы, медикаменты, консервированное молоко. Позор! Студенческая демонстрация в Мадриде с требованием возвратить Гибралтар испанцам. Он увидел слово «Мадрид» и не смог читать дальше. «Здорово сработано, негодяи! Негодяи! Пусть они поджигают Париж со всех четырех сторон; пусть они превратят его в пепел».

Тур (от нашего собственного корреспондента Аршамбо): сражение продолжается, французы заявляют, что вражеский натиск ослабевает; серьезные потери у нацистов.

Естественно, натиск ослабевает, он будет ослабевать до последнего дня и до последней французской газеты; серьезные потери, жалкие слова, последние слова надежды, не имеющие больше оснований; серьезные потери у нацистов под Таррагоном; натиск ослабевает; Барселона будет держаться... а на следующий день – беспорядочное бегство из города.

Берлин (от нашего собственного корреспондента Брукса Питерса): Франция потеряла всю свою промышленность; Монмеди взят; линия Мажино прорвана с ходу; враг обращен в бегство.

Песнь славы, трубная песнь, солнце; они поют в Берлине, в Мадриде, в своей военной форме, в Барселоне, в Мадриде, в своей военной форме; в Барселоне, Мадриде, Валенсии, Варшаве, Париже; а завтра – в Лондоне. В Туре господа французские чиновники в черных сюртуках бегали по коридорам отелей. Здорово сработано! Это здорово, пусть берут все, Францию, Англию, пусть высаживаются в Нью-Йорке, здорово сработано!

Господин в золотых очках смотрел на него: Гомесу стало стыдно, словно он закричал. Негры улыбались, молодая женщина улыбалась, кондуктор улыбался, *not to grin is a sin*⁴.

– Выходим, – улыбаясь, сказал Ричи.

⁴ Не улыбаться – это грех (*англ.*).

С афиш, с обложек журналов улыбалась Америка. Гомес подумал о Рамоне и тоже улыбался.

– Десять часов, – сказал Ричи, – мы опоздали только на пять минут.

Десять часов, значит, во Франции три часа: бледный, лишенный надежды день таился в глубине этого заморского утра.

Три часа во Франции.

– Вот и приехали, – сказал владелец машины.

Он окаменел за рулем; Сара видела, как пот струится по его затылку; за спиной неистовствовали клаксоны.

– Бензин кончился!

Он открыл дверцу, спрыгнул на дорогу и стал перед машиной. Он нежно смотрел на нее.

– Мать твою! – сквозь зубы процедил он. – Мать твою за ногу!

Он нежно гладил рукой горячий капот: Сара видела его через стекло на фоне сверкающего неба, среди всего этого столпотворения; машины, за которыми они ехали с утра, исчезли в облаке пыли. А сзади – гудки, свистки, сирены: клочкотание железных птиц, песнь ненависти.

– Почему они сердятся? – спросил Пабло.

– Потому что мы загораживаем им дорогу.

Она хотела выйти из машины, но отчаяние вдавливало ее в сиденье. Водитель поднял голову.

– Выходите же! – раздраженно сказал он. – Вы что, не слышите, как гудят? Помогите мне подтолкнуть машину.

Они вышли.

– Идите назад, – сказал водитель Саре, – и толкайте получше.

– Я тоже хочу толкать! – пискнул Пабло.

Сара уперлась в машину и, закрыв глаза, в кошмаре толкала изо всех сил. Пот пропитал ее блузку; сквозь закрытые веки солнце выкалывало ей глаза. Она их открыла: перед ней водитель толкал левой рукой, упираясь в дверцу, а правой крутил руль; Пабло бросился к заднему буферу и с дикими криками уцепился за него.

– Не растянись, – сказала Сара.

Машина вяло катилась по обочине дороги.

– Стоп! Стоп! – сказал водитель. – Хватит, хватит, черт побери!

Гудки умолкли: поток восстановился. Машины шли мимо застрывшего автомобиля, лица прикипали к стеклам; Сара почувствовала, что краснеет под взглядами, и спряталась за машиной. Высокий худой человек за рулем «шевроле» крикнул им:

– Выблядки!

Грузовики, грузовички, частные машины, такси с черными занавесками, кабриолеты. Каждый раз, когда мимо них проходила машина, Сара теряла надежду – Жьен еще больше удалялся от них. Потом пошла вереница тележек, и Жьен, скрипя, продолжал удаляться; затем дорогу покрыла черная смола пешеходов. Сара спряталась у края кювета: толпы наводили на нее страх. Люди шли медленно, с трудом, страдание придавало им семейный вид: любой, кто войдет в их ряды, будет на них походить. Я не хочу. Я не хочу стать, как они. Они на нее не смотрели; они обходили машину, не глядя на нее: у них больше не было глаз. Гигант в канотье с чемоданом в каждой руке задел автомобиль, как слепой ударился о крыло, повернулся вокруг своей оси и, шатаясь, пошел снова. Он был бледен. На одном из чемоданов были разноцветные наклейки: Севилья, Каир, Сараево, Стреса.

– Он умирает от усталости! – крикнула Сара. – Он сейчас упадет.

Но он не падал. Сара проследила глазами за канотье с красно-зеленой лентой, которое легкомысленно раскачивалось над морем шляп.

– Берите чемодан и добирайтесь дальше без меня.

Сара, не отвечая, вздрогнула: она затравленно, с отвращением смотрела на толпу.

– Вы слышите, что я вам говорю?

Она повернулась к нему:

– Но ведь можно подождать проходящую машину и попросить канистру бензина? После пешеходов будут еще автомобили.

Водитель нехорошо улыбнулся:

– Я вам не советую даже пытаться.

– А почему нет? Почему бы не попытаться?

Он презрительно сплюнул и некоторое время не отвечал.

– Вы же их видели? – наконец сказал он. – Они толкают друг дружку в задницу. Так с чего бы им останавливаться?

– А если я найду бензин?

– Говорю же вам, не найдете. Вы что, думаете, они из-за вас потеряют свой ряд? – Он, ухмыляясь, смерил ее взглядом. – Будь вы красивой девчонкой и будь вам двадцать лет, но я молчу, молчу.

Сара сделала вид, что не слышит его. Она настаивала:

– Но если я все-таки достану?

Он с упрямым видом покачал головой:

– Не стоит. Я дальше не поеду. Даже если вы достанете двадцать литров, даже если сто. Баста.

Он скрестил руки.

– Вы отдадите себе отчет? – сурово сказал он. – Тормозить, заноситься на повороте, включать сцепление каждые двадцать метров. Менять скорость сто раз в час: это значит загубить машину!

На стекле были коричневые пятна. Он вынул платок и заботливо их вытер.

– Я не должен был соглашаться.

– Вам нужно было только взять побольше бензина, – сказала Сара.

Тот, не отвечая, покачал головой; ей захотелось дать ему пощечину. Но она сдержалась и спокойно сказала:

– Итак, что вы собираетесь делать?

– Остаться здесь и ждать.

– Ждать чего?

Он не ответил. Она изо всех сил стиснула ему запястье.

– Да знаете ли вы, что с вами случится, если вы здесь останетесь? Немцы депортируют всех годных к военной службе.

– Конечно! А еще они отрубят руки вашему малышу и залезут на вас, если у них хватит смелости. Все это враки: они, конечно, и на четверть не такие, какими их расписывают.

У Сары пересохло в горле, губы ее дрожали. Почти равнодушно она сказала:

– Ладно. Где мы находимся?

– В двадцати четырех километрах от Жьена.

«Двадцать четыре километра! И все-таки я не буду плакать перед этой скотиной». Она залезла в машину, забрала чемодан, вышла, взяла за руку Пабло.

– Пошли, Пабло.

– Куда?

– В Жьен.

– Это далеко?

– Далековато, но я тебя понесу, как только ты устанешь. И потом, – с вызовом добавила она, – беспорно, найдутся добрые люди, которые нам помогут.

Водитель стал перед ними и преградил им путь. Он хмурил брови и обеспокоенно чесал в затылке.

– Чего вы хотите? – сухо спросила Сара.

Он и сам толком не знал, чего хотел. Он смотрел то на Сару, то на Пабло; он выглядел растерянным.

– Так что? – неуверенно спросил он. – Так и уходим? Даже не сказав спасибо?

– Спасибо, – очень быстро сказала Сара. – Спасибо.

Но его томил гнев, и он дал ему волю. Лицо его побагровело.

– А мои двести франков? Где они?

– Я вам ничего не должна, – сказала Сара.

– Разве вы не обещали мне двести франков? Сегодня утром? В Мелене? В моем гараже?

– Да, если вы отвезете меня в Жьен; но вы бросаете меня с ребенком на полдороге.

– Это не я вас бросаю, это мой драндулет виноват.

Он покачал головой, и вены у него на висках вздулись. Его глаза заблестели. Но Сара его не боялась.

– Отдайте мне двести франков.

Она порылась в сумочке.

– Вот сто франков. Вы, конечно, богаче меня, и я вам их не должна. Я вам их отдаю, чтобы вы оставили меня в покое.

Он взял купюру и положил ее в карман, потом снова протянул руку. Он был очень красный, с открытым ртом и блуждающими глазами.

– Вы мне должны еще сто франков.

– Вы больше не получите ни гроша. Пропустите меня.

Он не шевелился, обуреваемый противочувствиями. В действительности они ему не нужны были, эти сто франков; может, он хотел, чтобы малыш поцеловал его перед уходом: он просто перевел это желание на свой язык. Он подошел к ней, и она поняла, что сейчас он возьмет чемодан.

– Не прикасайтесь ко мне.

– Или сто франков, или я беру чемодан.

Они смотрели друг на друга в упор. Ему совсем не хотелось брать чемодан, это было очевидно, а Сара так устала, что охотно отдала бы его ему. Но теперь нужно было доиграть сцену до конца. Они колебались, как будто забыли слова своей роли; потом Сара сказала:

– Попробуйте его отнять! Попробуйте!

Он схватил чемодан за ручку и начал тянуть к себе. Он мог бы его отнять одним рывком, но он ограничился тем, что тянул вполсилы, отвернувшись, Сара тянула к себе; Пабло начал плакать. Стадо пешеходов было уже далеко; теперь снова двинулся поток автомобилей. Сара почувствовала, как она нелепа. Она с силой тянула за ручку; он тянул сильнее со своей стороны и в конце концов вырвал его у нее. С удивлением смотрел он на Сару и на чемодан; возможно, он не собирался его отнимать, но теперь кончено: чемодан был у него в руках.

– Отдайте сейчас же чемодан! – потребовала Сара.

Он не отвечал, вид у него был по-идиотски упорный. Гнев приподнял Сару и бросил ее к машинам.

– Грабят! – крикнула она.

Длинный черный «бьюик» проезжал рядом с ними.

– Хватит дурить! – сказал шофер.

Он схватил ее за плечо, но она вырвалась; слова и жесты ее были непринужденны и точны. Она прыгнула на подножку «бьюика» и уцепилась за ручку дверцы.

– Грабят! Грабят!

Из машины высунулась рука и оттолкнула ее.

– Сойдите с подножки, вы разобьетесь.

Она почувствовала, что теряет рассудок: так было даже лучше.

– Остановитесь! – закричала она. – Грабят! На помощь!

– Да сойдите же! Как я могу остановиться: в меня врежутся.

Гнев Сары угас. Она прыгнула на землю и оступилась. Шофер подхватил ее на лету и поставил на ноги. Пабло кричал и плакал. Праздник закончился: Саре хотелось умереть. Она порылась в сумочке и достала оттуда сто франков.

– Вот! И пусть вам будет стыдно!

Субъект, не поднимая глаз, взял купюру и выпустил из рук чемодан.

– Теперь пропустите нас.

Он посторонился; Пабло продолжал плакать.

– Не плачь, Пабло, – твердо сказала она. – Все, все кончено; мы уходим.

Она удалилась. Водитель проворчал им в спину:

– А кто бы мне заплатил за бензин?

Удлиненные черные муравьи заполнили всю дорогу; Сара некоторое время пыталась идти между ними, но рев клаксонов за спиной вытеснил их на обочину.

– Иди за мной.

Она подвернула ногу и остановилась.

– Сядь.

Они сели в траву. Перед ними ползли насекомые, огромные, медлительные, таинственные; водитель повернулся к ним спиной, он еще сжимал в руке бесполезные сто франков; автомобили поскрипывали, как омары, пели, как кузнечики. Люди превратились в насекомых. Ей стало страшно.

– Он злой, – сказал Пабло. – Злой! Злой!

– Никто не злой! – страстно сказала Сара.

– Тогда почему что он взял чемодан?

– Не говорят: почему что. Почему он взял чемодан.

– Почему он взял чемодан?

– Ему страшно, – пояснила она.

– Чего мы ждем? – спросил Пабло.

– Чтобы прошли автомобили и мы двинулись дальше.

Двадцать четыре километра. Малыш самое большее сможет пройти восемь. Вдруг она вскарабкалась на насыпь и замахала рукой. Машины проходили мимо, и она чувствовала, что ее *видят* спрятанные глаза, странные глаза мух, муравьев.

– Что ты делаешь, мама?

– Ничего, – горько сказала Сара. – Так, глупости.

Она спустилась в кювет, взяла за руку Пабло, и они молча посмотрели на дорогу. На дорогу и на скорлупки, которые ползли по ней. Жьен, двадцать четыре километра. После Жьена – Невер, Лимож, Бордо, Андай, консульства, хлопоты, унижительные ожидания в конторах. Им очень повезет, если она найдет поезд на Лиссабон. В Лиссабоне будет чудо, если окажется пароход на Нью-Йорк. А в Нью-Йорке? У Гомеса ни гроша, возможно, он живет с какой-нибудь женщиной; это будет несчастье, крошечный срам. Он прочтет телеграмму, скажет «Черт побери!». Потом он обернется к толстой блондинке с сигаретой, зажатой в скотских губах, и скажет ей: «Моя жена приезжает, это как снег на голову!» Он на набережной, все машут платками, он не машет своим, он злым взглядом смотрит на сходни. «Давай! Давай! – подумала она. – Будь я одна, ты бы никогда больше не услышал обо мне; но мне нужно жить, чтобы воспитать ребенка, которого ты мне сделал».

Автомобили исчезли, дорога опустела. По обе стороны дороги тянулись желтые поля и холмы. Какой-то мужчина промчался на велосипеде; бледный и потный, он сильно нажимал на педали. Растерянно посмотрев на Сару, он не останавливаясь крикнул:

– Париж горит! Зажигательные бомбы!

– Как?

Но он уже доехал до последних машин, она увидела, как он сзади подцепился к «рено». Париж в огне. Зачем жить? Зачем спасать эту маленькую жизнь? Чтобы он бродил из страны в страну, горестный и боязливый; чтобы он полвека пережевывал проклятие, которое тяготеет над его расой? Чтобы он погиб в двадцать лет на простреливаемой дороге, держа в руках свои кишки? От отца ты унаследуешь спесь, жестокость и чувственность. От меня – только мое еврейство. Она взяла его за руку:

– Ну, пошли! Пора.

Толпа запрудила дорогу и поля, плотная и упорная, беспощадная: наводнение. Ни звука, кроме шипящего шарканья подошв о землю. На мгновение Сара почувствовала ужас; ей захотелось бежать в поле, но она взяла себя в руки, схватила Пабло, увлекла его за собой, отдавшись течению. Запах. Запах людей, горячий и пресный, болезненный, резкий, с привкусом одеколона; противоестественный запах мыслящих животных. Между двумя красными затылками, втиснутыми в котелки, Сара увидела вдалеке последние убегающие машины, последние надежды. Пабло засмеялся, и Сара вздрогнула.

– Замолчи! – смущенно сказала она. – Не нужно смеяться.

Он продолжал тихо смеяться.

– Почему ты смеешься?

– Как на похоронах, – объяснил он.

Сара угадывала лица и глаза справа и слева от себя, но не смела на них посмотреть. Они шли; они упорно продолжали идти, как она упорно продолжала жить: стены пыли поднимались и обрушивались на них; они продолжали идти. Сара, выпрямившись, с высоко поднятой головой, устремила взгляд очень далеко над затылками и повторяла себе: «Я не стану такой, как они». Но через какое-то время этот коллективный марш пронзил ее, поднялся от бедер к животу, начал биться в ней, как большое напружиненное сердце. Сердце *всех*.

– Нацисты нас убьют, если схватят? – вдруг спросил Пабло.

– Тихо! – сказала Сара. – Я не знаю.

– Они убьют всех, кто здесь?

– Да замолчи же, говорю тебе, что не знаю.

– Тогда нужно бежать.

Сара стиснула его руку.

– Не беги. Останемся здесь. Они нас не убьют.

Слева от нее неровное дыхание. Она его слышала уже минут пять, не остерегаясь. Оно проскользнуло в нее, разместилось у нее в легких, стало ее дыханием. Она повернула голову и увидела старуху с серыми космами, склеенными потом. Это была городская старуха: бледные щеки, мешки под глазами, она тяжело дышала. Должно быть, она прожила шестьдесят лет в одном из дворов Монружа, в одной из комнат за магазином Клиши; теперь ее выгнали на дорогу; она прижимала к бедру продолговатый тюк; каждый ее шаг был падением: она перепадала с ноги на ногу, и одновременно с этим падала ее голова. «Кто ей посоветовал уходить, в ее-то возрасте? Разве людям мало несчастий, чтобы еще нарочно придумывать новые?» Доброта торкнулась ей в грудь, как молоко: «Я ей помогу, возьму у нее тюк, разделю ее усталость, ее несчастья». Она мягко спросила:

– Вы одна, мадам?

Старуха даже не повернула головы.

– Мадам, – громче сказала Сара, – вы одна?

Старуха с замкнутым видом посмотрела на нее.

– Я могу поднести вам тюк, – предложила Сара.

Некоторое время она подождала, глядя на тюк. Потом настойчиво добавила:

– Дайте мне его, прошу вас: я его понесу, пока малыш может идти сам.

– Я не отдам свой тюк, – сказала старуха.

– Но вы же выбились из сил; так вы не дойдете до цели.

Старуха бросила на нее ненавидящий взгляд и шагнула в сторону.

– Я никому не отдам свой тюк, – повторила она.

Сара вздохнула и замолчала. Ее невостребованная доброта разрывала ее, как газ. Они не хотят, чтобы их любили. Несколько голов повернулись к ней, и она покраснела. Они не хотят, чтобы их любили, у них нет к этому привычки.

– Еще далеко, мама?

– Почти столько же, – раздраженно ответила Сара.

– Понеси меня, мама.

Сара пожала плечами. «Он ломает комедию, он ревнует, потому что я захотела нести старухин тюк».

– Попытайся еще немного идти сам.

– Я больше не могу, мама. Понеси меня.

Она со злостью вырвала руку: он высосет из меня все силы, и я не смогу никому помочь. Она будет нести малыша, как старуха несет свой тюк, она уподобится им.

– Понеси меня! – топая ногами, капризничал Пабло. – Понеси меня!

– Ты еще не устал, Пабло, – строго прошептала она, – ты только что вышел из машины.

Малыш снова засеменил. Сара шла, высоко подняв голову, стараясь больше не думать о нем. Через какое-то время она краем глаза на него посмотрела и увидела, что он плачет. Он плакал смирно, бесшумно, для себя самого; время от времени он поднимал кулачки, чтобы стереть слезы со щек. Она устыдилась и подумала: «Я слишком сурова. Добра ко всем из гордости, сурова с ним, потому что он мой». Она отдавала себя всем, она забывала себя, она забывала, что она еврейка и сама преследуема, она убегала в безличное милосердие, и в эти минуты она ненавидела Пабло, потому что он был плотью от ее плоти и напоминал ей о ее расе. Она положила большую руку на голову малыша и подумала: «Ты не виноват, что у тебя лицо отца и раса матери». Свистящий хрип старухи проникал ей в легкие. «Я не имею права быть великодушной». Она перебросила чемодан в левую руку и присела.

– Обними меня руками за шею, – весело сказала Сара. – Сделайся легким. Гоп! Я тебя поднимаю.

Пабло был тяжелым, бессмысленно смеялся, и солнце высушивало его слезы; она стала подобной другим, стадным животным; языки пламени лизали ей легкие при каждом вдохе; острая и обманчивая боль пилила ей плечо; усталость, которая не была ни великодушной, ни желаемой, била как в барабан в ее груди. Усталость матери и еврейки, *ее* усталость, *ее* судьба. Надежда иссякла: она никогда не придет в Жьен. Ни она, ни все другие. Надежды не было ни у кого – ни у старухи, ни у двух затылков в котелках, ни у пары, которая толкала велосипед-танDEM со спущенными шинами. Но мы охвачены толпой, толпа идет, и мы идем; мы всего лишь лапки этого нескончаемого насекомого. К чему идти, если надежда умерла? К чему жить?

Когда толпа стала кричать, Сара слегка удивилась; она остановилась в то время, как люди разбежались, прыгали под насыпь, распластывались в кюветах. Она уронила чемодан и осталась посреди дороги, прямая, одинокая и гордая; она слышала, как гудит небо, она смотрела на свою уже довольно длинную тень у ног, она прижимала Пабло к груди, ее уши заполнились грохотом; на какой-то миг она словно умерла. Но шум утих, она увидела, как на глади неба замелькали головастики, люди выходили из кюветов, нужно было снова жить, снова идти.

– В итоге, – сказал Ричи, – он оказался не такой уж свиньей: он предложил нам пообедать и дал тебе сто долларов аванса.

– Да, это так, – согласился Гомес.

Они были на первом этаже Музея современного искусства, в зале временных выставок. Гомес стоял спиной к Ричи и к картинам: он прижался лбом к оконному стеклу и смотрел наружу, на асфальт и чахлый газон сада. Не оборачиваясь, он сказал:

– Теперь я, возможно, смогу думать не только о собственном пропитании.

– Ты должен быть очень доволен, – благожелательно сказал Ричи.

Это был завуалированный намек: «Ты нашел себе местечко, все к лучшему в этом лучшем из новых миров, и тебе подобает демонстрировать примерный энтузиазм». Гомес бросил через плечо мрачный взгляд на Ричи: «Доволен? Ты-то как раз доволен, потому что я больше не буду сидеть у тебя на шее».

Он не чувствовал ни малейшей благодарности.

– Доволен? – сказал он. – Надо еще подумать.

Лицо Ричи стало слегка жестким.

– Ты недоволен?

– Надо еще подумать, – ухмыляясь, повторил Гомес.

Снова упершись лбом в стекло, он посмотрел на траву со смесью вождения и отвращения. До сегодняшнего утра, слава Богу, краски его не волновали; он похоронил воспоминания о том времени, когда бродил по улицам Парижа, замороженный, безумный от гордости перед своей судьбой, сто раз на дню повторяя: «Я – художник». Но Рамон дал денег, Гомес выпил чилийского белого вина, он впервые за три года говорил о Пикассо. Рамон сказал: «После Пикассо я не знаю, что еще может сделать художник», а Гомес улыбнулся и сказал: «Я знаю», и сухое пламя воскресло в его сердце. Выходя из ресторана, он чувствовал себя так, будто его избавили от катаракты: все краски разом зажглись и радостно встретили его, как в двадцать девятом году; это был бал, Карнавал, Фантазия; люди и предметы были воспалены; фиолетовый цвет платья окрашивал все в фиолетовый цвет, красная дверь аптеки превращалась в темно-красную, краски переполняли предметы, как обезумевшие пульсы; это были порывы вибрации, разбухавшие до взрыва; сейчас предметы разорвутся или упадут в апоплексическом ударе, и все это кричало, все диссонировало, все было частью ярмарки. Гомес пожал плечами: ему возвращали краски, когда он перестал верить в свою судьбу; я хорошо знаю, что нужно делать, но это сделает кто-то другой. Он уцепился за руку Ричи; он ускорил шаг и смотрел прямо перед собой, но краски осаждали его сбоку, они вспыхивали у него в глазах, как пузыри крови и желчи. Ричи привел его в музей, теперь он был там, внутри, и был этот зеленый цвет по ту сторону стекла, этот незаконченный, естественный, двусмысленный зеленый цвет, органическая секреция, подобная меду и сырому молоку; этот зеленый цвет нужно было взять; я его привлеку, я его накалю... Но что мне с ним делать: я больше не могу рисовать. Он вздохнул: «Художественному критику платят не за то, что он занимается дикой травой, он думает над мыслью других. Краски других красовались перед ним на полотнах: отрывки, разновидности, мысли. Им удалось принести результаты; их увеличили, надули, толкнули к крайнему пределу их самих, и они исполнили свою судьбу, оставалось только сохранить их в музеях. Краски других: теперь это его жребий».

– Ладно, – сказал он, – пойду зарабатывать сто долларов.

Он обернулся и увидел пятьдесят полотен Мондриана на белых стенах этой клиники: стерилизованная живопись в зале с кондиционированным воздухом; ничего подозрительного; все защищено от микробов и страстей. Он подошел к одной из картин и долго рассматривал ее. Ричи следил за лицом Гомеса и заранее улыбался.

– Мне это ни о чем не говорит, – пробормотал Гомес.

Ричи перестал улыбаться, но понимающе посмотрел на него.

– Конечно, – тактично заметил он. – Это не может вернуться сразу, тебе нужно привыкнуть.

– Привыкнуть? – зло переспросил Гомес. – Но не к этому же.

Ричи повернул голову к картине. Черная вертикаль, перечеркнутая двумя горизонтальными полосами, возвышалась на сером фоне; левый конец верхней полосы венчался голубым диском.

– Я думал, тебе нравится Мондриан.

– Я тоже так думал, – сказал Гомес.

Они остановились перед другим полотном; Гомес смотрел на него и пытался вспомнить.

– Действительно необходимо, чтобы ты об этом написал? – обеспокоенно спросил Ричи.

– Необходимо – нет. Но Рамон хочет, чтобы я посвятил ему свою первую статью. Думаю, он считает, что это будет солидно.

– Будь осторожен, – сказал Ричи. – Не начинай с разноса.

– Почему бы и нет? – ошетинился Гомес.

Ричи улыбнулся со снисходительной иронией:

– Видно, что ты не знаешь американскую публику. Она очень не любит, когда ее пугают. Начни с того, что сделай себе имя: пиши о простом и естественном, и так, чтобы было приятно читать. А если уж непременно хочешь напасть на кого-нибудь, в любом случае не трогай Мондриана: это наш бог.

– Черт возьми, – сказал Гомес, – он совсем не задает вопросов.

Ричи покачал головой и несколько раз цокнул языком в знак неодобрения.

– Он их задает в огромном количестве, – сказал он.

– Да, но не затруднительные вопросы.

– А! – сказал Ричи. – Ты имеешь в виду что-нибудь о сексуальности, или о смысле жизни, или об обнищании народа? Действительно, ты научился в Германии *Grundlichkeit*⁵, а? – сказал он, хлопая его по плечу. – Тебе не кажется, что это немного устарело?

Гомес не ответил.

– По-моему, – сказал Ричи, – искусство создано не для того, чтобы задавать затруднительные вопросы. Представь себе, что некто приходит ко мне и спрашивает, не желал ли я свою мать; я его вышвырну вон, если только он не какой-нибудь ученый-исследователь. И я не понимаю, почему художникам позволительно спрашивать меня о моих комплексах. Я как все, – примирительным тоном добавил он, – у меня свои проблемы. Только в тот день, когда они меня беспокоят, я иду не в музей: я звоню психоаналитику. У каждого свое ремесло: психоаналитик внушает мне доверие, потому что он начал с собственного психоанализа. Пока художники не будут поступать так, они будут говорить обо всем кстати и некстати, и я не попрошу их поставить меня перед самим собой.

– А чего ты у них попросишь? – рассеянно спросил Гомес.

Он осматривал полотно с мрачным ожесточением. Он думал:

«Сколько воды!»

– Я у них попрошу чистоты, – сказал Ричи. – Это полотно...

– Что?

– Это ангельское деяние, – восторженно сказал Ричи. – Мы, американцы, хотим живописи для счастливых людей или тех, кто пытается быть счастливым.

– Я не счастливый, – сказал Гомес, – и я был бы негодяем, если бы попытался им быть, когда все мои товарищи или в тюрьме, или расстреляны.

Ричи снова цокнул языком.

⁵ Основательность (нем.).

– Старина, – сказал он, – я хорошо понимаю все твои человеческие тревоги. Фашизм, поражение союзников, Испания, твоя жена, твой сын: конечно! Но ведь иногда неплохо подняться над всем этим.

– Ни на одно мгновение! – сказал Гомес. – Ни на одно мгновение!

Ричи слегка покраснел.

– Что же ты рисовал? – оскорбленно спросил он. – Стачки? Резню? Капиталистов в цилиндрах? Солдат, стреляющих в народ?

Гомес улыбнулся.

– Знаешь, я всегда не очень-то верил в революционное искусство, а теперь и вовсе перестал в него верить.

– Так что? – сказал Ричи. – Значит, мы согласны друг с другом.

– Может быть, только теперь я думаю: не перестал ли я вообще верить в искусство?

– И вообще в революцию? – продолжил Ричи.

Гомес не ответил. Ричи снова заулыбался.

– Вы, европейские интеллектуалы, меня забавляете: у вас комплекс неполноценности по отношению к любому действию.

Гомес резко отвернулся и схватил Ричи за руку.

– Пошли. Я достаточно насмотрелся. Я знаю Мондриана наизусть и всегда смогу нацарапать статью. Поднимемся.

– Куда?

– На второй этаж. Я хочу увидеть других.

– Каких других?

Они прошли три зала выставки. Гомес, ни на что не глядя, подталкивал Ричи перед собой.

– Каких других? – недовольно повторил Ричи.

– Всех других. Клее, Руо, Пикассо: тех, кто задает затруднительные вопросы.

Они были вывешены у начала лестницы. Гомес остановился. Он в замешательстве посмотрел на Ричи и почти робко признался:

– Это первые картины, которые я вижу с тридцать шестого года.

– С тридцать шестого года! – изумленно повторил Ричи.

– Именно в том году я уехал в Испанию. В то время я делал гравюры на меди. Была одна, которую я не успел закончить, она осталась на моем столе.

– С тридцать шестого года! Но ведь в Мадриде есть полотна Прадо?

– Упакованы, спрятаны, рассеяны.

Ричи покачал головой:

– Ты, должно быть, много страдал.

Гомес грубо засмеялся:

– Нет.

Удивление Ричи оттенялось осуждением:

– Лично я никогда не прикасался к кисти, но мне нужно ходить на все выставки, это потребность. Как может художник четыре года не видеть живописи?

– Подожди, – сказал Гомес, – подожди немного! Через минуту я буду знать, художник ли я еще.

Они поднялись по лестнице, вошли в зал. На левой стене была картина Руо, красная и голубая. Гомес стал перед картиной.

– Это волхв, – сказал Ричи.

Гомес не ответил.

– Мне не так уж нравится Руо, – признался Ричи. – Тебе же он, очевидно, должен нравиться.

– Да замолчи же ты!

Он посмотрел еще мгновение, потом опустил голову:

– Пошли отсюда!

– Если ты любишь картины Руо, там дальше есть одна, которую я считаю гораздо красивее.

– Не стоит, – сказал Гомес. – Я ослеп.

Ричи посмотрел на него, приоткрыл рот и замолчал. Гомес пожал плечами.

– Не надо было стрелять в людей.

Они спустились по лестнице, Ричи очень напряженный, с важным видом. «Он меня считает подозрительным», – подумал Гомес. Ричи, разумеется, был ангелом; в его светлых глазах можно было прочесть упорство ангелов; его прадеды, которые тоже были ангелами, жгли ведьм на площадях Бостона. «Я потею, я беден, у меня подозрительные мысли, европейские мысли; прекрасные ангелы Америки в конце концов меня сожгут». Там концлагеря, здесь костер; выбор невелик.

Они подошли к коммерческому прилавку у входа. Гомес рассеянно листал альбом с репродукциями. Искусство оптимистично.

– Нам удастся делать великолепные фотографии, – сказал Ричи. – Посмотри на эти краски: картина как настоящая.

Убитый солдат, кричащая женщина: отражения в умиротворенном сердце. Искусство оптимистично, страдания оправданы, потому что они служат для создания красоты. «Меня не умиротворишь, я не хочу оправдывать страдания, которые я видел. Париж...»

Он резко повернулся к Ричи:

– Если искусство не все, то это пустяк.

– Что ты сказал?

Гомес с силой закрыл альбом:

– Нельзя рисовать Зло.

Недоверие заледенило взгляд Ричи; он смотрел на Гомеса с провинциальным недоумением. Вдруг он откровенно рассмеялся и ткнул его пальцем в бок:

– Понимаю, старина! Четыре года войны чего-то стоят: нужно заново всему учиться.

– Пустяки, – сказал Гомес. – Я в состоянии быть критиком.

Наступило молчание; потом Ричи очень быстро спросил:

– Ты знаешь, что в полуподвале есть кинотеатр?

– Я никогда здесь не был.

– Они показывают классику и документальные фильмы.

– Хочешь туда пойти?

– Мне нужно побыть где-то здесь, – сказал Ричи. – У меня встреча в семи кварталах отсюда, в пять часов.

Они подошли к панно из лакированного дерева и взглянули на афишу:

– «Караван на запад», я это видел три раза, – сказал Ричи. – Но добыча бриллиантов в Трансваале может быть забавной. Ты идешь? – вяло добавил он.

– Я не люблю бриллианты, – сказал Гомес.

Ричи полегчало, он широко улыбнулся Гомесу, вывернув губы, и хлопнул его по плечу.

– See you again!⁶ – сказал он по-английски, словно разом обрел родной язык и свободу.

«Хороший момент поблагодарить его», – подумал Гомес. Но не смог выдавить из себя ни слова. Он молча пожал ему руку.

Снаружи спрут; тысячи щупальцев прикасались к нему, вода выступала каплями из его пор и сразу пропитала рубашку; перед его глазами будто проводили раскаленным добела лез-

⁶ До встречи! (англ.)

вием. Не важно! Не важно! Он был рад, что ушел из музея; жара была катастрофой, но она была настоящей. Это было настоящее, дикое индейское небо, проколотое остриями небоскребов выше всех небес Европы; Гомес шел между настоящих кирпичных домов, таких безобразных, что никто и не подумает их нарисовать, а вот это далекое высотное здание, похожее на корабли Клода Лоррена, словно созданное легким прикосновением кисти к полотну, было настоящим, а корабли Клода Лоррена настоящими не были: картины – это мечты. Он подумал о той деревне Сьерра-Мадре, где сражались с утра до вечера: на дороге был настоящий красный цвет. «Я больше никогда не буду рисовать», – решил он с жестоким удовольствием. Он решил это именно здесь, по эту сторону стекла, раздавленный в толще этого пекла, на этом раскаленном тротуаре; Истина сооружала вокруг него эти высокие стены, закупоривая все стены горизонта; в мире не было ничего другого, только эта жара и эти камни, а еще – мечты. Он повернул на Седьмую авеню; толпа накатилась на него, волны несли на гребнях пучки блестящих и мертвых глаз, тротуар дрожал, перегретые краски брызгали на него, толпа дымилась, как влажное сукно на солнце; улыбки и глаза, *not to grin is a sin*, глаза неопределенные и точные, быстрые и медленные, все мертвые. Он попытался продолжить комедию: настоящие люди; но нет: невозможно! Все лопнуло в его руках, его радость угасла; у них были глаза, как на портретах. Знают ли они, что Париж взят? Думают ли они об этом? Они все шли одной и той же торопливой походкой, белая пена их взглядов обжигала его. «Это ненастоящие, – подумал он, – это двойники. А где настоящие? Где угодно, но не здесь. Все здесь невсамделишные, и я тоже». Двойник Гомеса сел в автобус, прочел газету, улыбнулся Рамону, говорил о Пикассо, смотрел картины Мондриана. Я шагал по Парижу, улица Руаяль пустынна, площадь Согласия пустынна, немецкий флаг реет над палатой депутатов, полк СС проходит под Триумфальной аркой, небо усеяно самолетами. Кирпичные стены рухнули, толпа вернулась под землю, Гомес шел один по Парижу. По Парижу, в Правде, в единственной Правде, в крови, в ненависти, в поражении, в смерти. «Негодяи французы! – сжимая кулаки, прошептал он. – Они не смогли справиться, они побежали, как трусливые зайцы, я это знал, я знал, что им каюк». Он повернул направо, пошел по Пятдесят шестой улице, остановился перед французским бар-рестораном «У маленькой кокетки». Он посмотрел на красно-зеленый фасад, какое-то время колебался, затем толкнул дверь: ему хотелось увидеть, какие у французов физиономии.

Внутри было темно и почти прохладно; шторы были опущены, лампы зажжены.

Гомес был рад искусственному свету. Дальний зал, погруженный в тень и тишину, служил рестораном. В баре сидел высокий крепыш: волосы подстрижены ежиком, неподвижные глаза под пенсне; время от времени его голова падала вперед, но он сразу же с большим достоинством ее выпрямлял. Гомес сел на табурет за стойкой бара. Он немного знал бармена.

– Двойной скотч, – сказал он по-французски. – Нет ли у вас сегодняшней газеты?

Бармен вынул из ящика «Нью-Йорк таймс» и дал ему. Это был молодой блондин, грустный и аккуратный; его можно было принять за уроженца Лилля, если бы не его бургундский акцент. Гомес сделал вид, что просмотрел «Таймс», и вдруг поднял голову. Бармен устало смотрел на него.

– Новости не ахти, а? – сказал Гомес.

Бармен покачал головой.

– Париж взят, – сказал Гомес.

Бармен издал грустный вздох, наполнил маленький стакан виски и вылил его содержимое в большой стакан; он сделал это еще раз и подтолкнул большой стакан Гомесу. На секунду американец в пенсне обратил на них остекленевшие глаза, потом голова его вяло наклонилась, словно он с ними поздоровался.

– С содовой?

– Да.

Гомес, не падая духом, продолжал:

– Думаю, Франция пропала.

Бармен, не отвечая, вздохнул, и Гомес с жестокой радостью подумал, что тот был до того несчастен, что не мог говорить. Но он почти нежно настаивал:

– Вы так не думаете?

Бармен наливал газированную воду в стакан Гомеса. Гомес не спускал глаз с этого лунообразного и плаксивого лица. Самое время сказать изменившимся голосом: «А что вы сделали для Испании? Что ж, теперь ваша очередь лезть в пекло!» Бармен поднял глаза и палец; он вдруг заговорил грубым, медленным и спокойным голосом, немного в нос, с сильным бургундским акцентом:

– За все приходится платить.

Гомес ухмыльнулся:

– Да, за все приходится платить.

Бармен провел пальцем в воздухе над головой Гомеса: комета, объявляющая о конце света. Но вид у него был вовсе не несчастный.

– Франция, – изрек он, – узнает, чего стоит бросать в беде своих естественных союзников.

«Что это?» – удивленно подумал Гомес. То заносчивое и злое торжество, которое он рассчитывал изобразить на своем лице, он прочел в глазах бармена.

Чтобы его прощупать, он осторожно начал:

– Когда Чехословакия...

Бармен пожал плечами и перебил его.

– Чехословакия! – с презрением сказал он.

– Так что? – продолжал Гомес. – Вы же ее бросили!

Бармен улыбался.

– Месье, – сказал он, – в царствование Людовика XV Франция уже совершила все свои ошибки.

– А! – сообразил Гомес. – Вы канадец?

– Я из Монреаля, – ответил бармен.

– Так надо было и сказать.

Гомес положил газету на стойку. Через некоторое время он спросил:

– К вам никогда не заходят французы?

Бармен показал пальцем куда-то за спину Гомеса. Гомес обернулся: за столом, накрытым белой скатертью, перед газетой о чем-то задумался какой-то старик. Настоящий француз: осевшее, изборожденное, изрытое лицо, блестящие и жесткие глаза и седые усы. Рядом с красивыми американскими щеками мужчины в пенсне его щеки казались скроенными из более жалкого материала. Настоящий француз, с настоящим отчаянием в сердце.

– Смотри-ка! – удивился Гомес. – Я его не заметил.

– Этот месье из Роанна, – сказал бармен. – Это наш клиент.

Гомес залпом выпил виски и прыгнул на пол. «Что вы сделали для Испании?» Старик безо всякого удивления смотрел на подходящего Гомеса. Гомес остановился у стола и с жадностью рассматривал это старое лицо.

– Вы француз?

– Да, – ответил старик.

– Я вас угощаю, – сказал Гомес.

– Спасибо. Не тот день.

Жестокость заставила забиться сердце Гомеса.

– Из-за этого? – спросил он, кладя палец на заголовок в газете.

– Из-за этого.

– Именно из-за этого я вас и угощаю, – сказал Гомес. – Я прожил десять лет во Франции, моя жена и сын еще там. Виски?

– Тогда без содовой.

– Один скотч без содовой и один с содовой, – заказал Гомес.

Они замолчали. Американец в пенсне повернулся на табурете и молча смотрел на них.

Вдруг старик спросил:

– Надеюсь, вы не итальянец?

Гомес улыбнулся:

– Нет, я не итальянец.

– Все итальянцы сволочи, – сказал старик.

«А французы?» – подумал Гомес. Он продолжал вкрадчивым голосом:

– У вас там кто-нибудь есть?

– В Париже – нет. У меня племянники в Мулене.

Он внимательно посмотрел на Гомеса:

– Я вижу, вы здесь недавно.

– А вы?

– Я здесь поселился в девяносто седьмом году. Уже давно.

Он добавил:

– Я их не люблю.

– Почему же вы здесь?

Старик пожал плечами:

– Я делаю деньги.

– Вы коммерсант?

– Парикмахер. Мое заведение в двух кварталах отсюда. Раз в три года я проводил два месяца во Франции. В этом году должен был туда поехать, а теперь – вот тебе на.

– Вот тебе на, – повторил Гомес.

– Сегодня с утра, – продолжал старик, – в мою парикмахерскую пришло сорок человек. Бывают такие дни. И им нужно все: бритье, стрижка, шампунь, электрический массаж. И вы, может быть, думаете, что они со мной говорили о моей стране? Дудки! Читали газеты, не говоря ни слова, а я видел заголовки, пока брил. Среди них были клиенты, которые двадцать лет ко мне ходят, но даже они ничего не сказали. Если я их не порезал, значит, им повезло: у меня руки дрожали. В конце концов я оставил работу и пришел сюда.

– Им плевать, – сказал Гомес.

– Не то чтобы им плевать, но они не способны найти человеческие слова. Вообще-то они о Париже слыхали. А помалкивают именно потому, что это их затронуло. Они такие.

Гомес вспомнил толпу на Седьмой авеню.

– Вы считаете, – спросил он, – что все эти люди на улице думают о Париже?

– В каком-то смысле да. Но знаете ли, они думают иначе, чем мы. Для американца думать о чем-нибудь, что его раздражает, значит напрочь изгнать такие мысли.

Бармен принес стаканы. Старик поднял свой.

– Что ж, – сказал он, – за ваше здоровье.

– За ваше здоровье, – ответил Гомес.

Старик грустно улыбнулся:

– Не очень-то знаешь, чего себе пожелать, да?

После короткого размышления он продолжил:

– Да, я пью за Францию. Все-таки за Францию.

Гомес не хотел пить за Францию.

– За вступление в войну Соединенных Штатов.

Старик коротко усмехнулся:

– Вы дождетесь этого после дождичка в четверг.

Гомес выпил и повернулся к бармену:

– То же самое.

Ему нужно было пить. Только что он считал себя единственным, кого волновала Франция, падение Парижа было его делом: одновременно несчастье для Испании и справедливое наказание для французов. Теперь же он чувствовал, что эта новость бродила по бару, что она вращалась кругами неопределенной абстрактной формы в душах шести миллионов. Это было почти невыносимо: его личная связь с Парижем оборвана, он был всего лишь недавно прибывшим эмигрантом, пронзенным, как множество других, одним общим кошмаром.

– Не знаю, – сказал старик, – поймете ли вы меня, но я живу здесь уже более сорока лет, и только с сегодняшнего утра я чувствую себя действительно иностранцем. Я не строю иллюзий, поверьте. Но я все же думал, что найдется хоть один человек, который протянет мне руку или скажет нужное слово.

Его губы задрожали, он повторил:

– Клиенты, которые двадцать лет ко мне ходят.

«Это француз, – подумал Гомес. – Один из тех, кто называл нас *Frente crapular*»⁷. Но радость не появлялась. «Он слишком стар», – решил Гомес. Старик смотрел в пустоту, он сказал, сам не веря себе до конца:

– Но может, это из деликатности...

– Гм! – хмыкнул Гомес.

– Может быть. У них все может быть.

Тем же тоном он продолжил:

– В Роанне у меня был дом. Я рассчитывал туда вернуться. Теперь, наверное, придется подышать здесь: на все по-другому смотришь.

«Естественно, – подумал Гомес, – естественно, ты подохнешь здесь». Он отвернулся, ему захотелось уйти. Но он овладел собой, внезапно покраснел и свистящим голосом спросил:

– Вы были за интервенцию в Испанию?

– Какую интервенцию? – ошеломленно спросил старик.

Он с любопытством посмотрел на Гомеса.

– Так вы испанец?

– Да.

– Вы тоже хлебнули лиха.

– Французы нам не очень-то помогли, – нейтральным голосом сказал Гомес.

– Верно, вот увидите, американцы нам тоже не помогут. Люди и страны похожи – каждый за себя.

– Да, – согласился Гомес, – каждый за себя.

Он и пальцем не пошевелил, чтобы защитить Барселону; теперь Барселона пала; Париж пал, и мы оба в изгнании, оба одинаковы. Официант поставил на стол два стакана; они их одновременно взяли, не отводя друг от друга взгляда.

– Я пью за Испанию, – сказал старик.

Гомес поколебался, потом сквозь зубы процедил:

– Я пью за освобождение Франции.

Они замолчали. Жалкое зрелище: две старые сломанные марионетки в глубине нью-йоркского бара. И такие пьют за Францию, за Испанию! Позор! Старик старательно свернул газету и встал.

– Мне нужно возвращаться в парикмахерскую. Я плачу за последнюю выпивку.

– Нет, – возразил Гомес. – Нет, нет. Бармен, все они за мной.

– Тогда спасибо.

Старик дошел до двери, Гомес заметил, что он хромает. «Бедный старик», – подумал он.

⁷ Пьяная (развратная) рожа (*исп.*), исковерканное «народный фронт» (*фр.*).

– То же самое, – сказал он бармену.

Американец в пенсне слез с табурета и, качаясь, направился к нему.

– Я пьян, – сказал он.

– Что? – не понял Гомес.

– Вы не заметили?

– Представьте себе, нет.

– А знаете, почему я пьян?

– Мне на это плевать, – ответил Гомес.

Американец звучно отрыгнул и рухнул на стул, на котором только что сидел старик.

– Потому что гунны взяли Париж.

Его лицо помрачнело, и он добавил:

– Это самое плохое известие с 1927 года.

– А что было в 1927 году?

Он приложил палец ко рту:

– Тсс! Личное.

Он положил голову на стол и, казалось, уснул. Бармен вышел из-за стойки и подошел к Гомесу.

– Постерегите его две минуты, – попросил он. – Ему пора, пойду вызвать ему такси.

– Что это за тип? – спросил Гомес.

– Он работает на Уолл-стрит.

– Это правда, что он напился, потому что взят Париж?

– Раз говорит, должно быть, правда. Только на прошлой неделе он набрался из-за событий в Аргентине, на позапрошлой – из-за катастрофы в Солт-Лейк-Сити. Он напивается каждую субботу, и всегда есть причина.

– Он слишком чувствителен, – сказал Гомес.

Бармен быстро вышел. Гомес обнял голову руками и посмотрел на стену; он четко представил себе гравюру, которую оставил тогда на столе. Нужна была бы темная масса слева, чтобы уравновесить композицию – возможно, куст. Он вспомнил гравюру, стол, большое окно и заплакал.

Воскресенье, 16 июня

– Там! Там! Как раз над деревьями.

Матье спал, и война была проиграна. Вплоть до глубины его сна она была проиграна. Голос резко разбудил его: он лежал на спине, закрыв глаза и вытянув руки вдоль тела, и он проиграл войну.

– Справа! – живо сказал Шарло. – Я же тебе говорю, как раз над деревьями. У тебя что, глаз нет?

Матье услышал медленный голос Ниппера.

– Ага! Ишь ты! – сказал Ниппер. – Ишь ты!

Где мы? В траве. Восемь горожан в полях, восемь гражданских в военной форме, завернутые по двое в армейские одеяла и лежащие посреди огорода. Мы проиграли войну; нам ее доверили, а мы ее проиграли. Она у них проскользнула сквозь пальцы, и теперь с грохотом ушла проигрывать куда-то на север.

– Ишь ты! Ишь ты!

Матье открыл глаза и увидел небо; оно было жемчужно-серым, без облаков, без дна, одна лишь пустота. На нем медленно рождалось утро, капля света, которая скоро упадет на землю и затопит ее золотом. Немцы в Париже, и мы проиграли войну. Начало, утро. Первое утро на свете, как и все остальные: все нужно было сделать, все будущее было в небе. Он вынул руку из-

под одеяла и почесал ухо: это будущее других. В Париже немцы поднимали глаза к небу, читали на нем свою победу и свои завтрашние дни. У меня же нет больше будущего. Шелк утра ласкал его лицо; но у своего правого бедра он чувствовал тепло Ниппера; у левой ляжки тепло Шарло. Еще годы жить: годы убивать. Этот зарождающийся победоносный день, светлый утренний ветер в тополях, полуденное солнце на колосьях пшеницы, аромат разогретой вечерней земли, нужно будет этот день убивать постепенно, минута за минутой; ночью немцы нас возьмут в плен. Гудение усилилось, и в лучах восходящего солнца он увидел самолет.

– Это макаронник, – сказал Шарло.

Заспанные голоса стали клясть самолет. Они привыкли к небрежному эскорту немецких самолетов, к циничной, безвредной, болтливой войне: это была *их* война. Итальянцы в эту игру не играли, они бросали бомбы.

– Макаронник? Так я и поверил! – возразил Люберон. – Ты что, не слышишь, как четко работает мотор? Это «мессершмитт», модель 37.

Под одеялами наступила разрядка; запрокинутые лица заулыбались немецкому самолету. Матье услышал несколько глухих взрывов, и в небе образовались четыре маленьких круглых облачка.

– Бляди! – выругался Шарло. – Теперь они стреляют в немцев.

– За это нас всех перебьют, – раздраженно сказал Лонжен.

А Шварц с презрением добавил:

– Эти придурки еще ничего не поняли.

Раздалось еще два взрыва, и над тополями появились два темных ватных облака.

– Бляди! – повторил Шарло. – Бляди!

Пинетт приподнялся на локте. Его красивое парижское личико было розовым и свежим. Он высокомерно посмотрел на своих товарищей.

– Они делают свое дело, – сухо сказал он.

Шварц пожал плечами:

– А зачем это сейчас?

Противовоздушная оборона умолкла; облака рассосались; слышно было только гордое и четкое пение.

– Я его больше не вижу, – сказал Ниппер.

– Нет, нет, он там, на конце моего пальца.

Белый овощ вышел из-под земли и указывал ввысь, на самолет: Шарло спал голым под одеялом.

– Лежи спокойно, – встревожился сержант Пьерне, – ты нас обнаружишь.

– Еще чего! В такой час он нас принимает за цветную капусту.

Он все-таки спрятал руку, когда самолет пролетал над его головой, мужчины, улыбаясь, следили глазами за этим сверкающим кусочком солнца: это было утреннее развлечение, первое событие дня.

– Он совершает маленькую прогулку, нагуливает аппетит, – сказал Люберон.

Их было восемь, проигравших войну, – пять секретарей, два наблюдателя и один метеоролог, они лежали бок о бок среди лука и морковки. Они профукали войну, как профукивают время: не замечая этого. Восемь: Шварц – слесарь, Ниппер – служащий банка, Лонжен – фининспектор, Люберон – коммивояжер, Шарло Вроцлав – зонтичных дел мастер, Пинетт – транспортный контролер и два преподавателя: Матье и Пьерне. Они скучали девять месяцев, то среди пихт, то в виноградниках; в один прекрасный день голос из Бордо объявил им об их поражении, и они поняли, что были не правы. Неуклюжая рука коснулась щеки Матье. Он повернулся к Шарло:

– Чего ты хочешь, дурачок?

Шарло лежал на боку, Матье видел его добрые красные щеки и широко растянутые губы.

– Я хотел бы знать, – тихим голосом сказал Шарло. – Мы сегодня отправимся?
На его улыбочивом лице беспрестанно мелькала смутная тревога.

– Сегодня? Не знаю.

Они покинули Морброн двенадцатого, все началось как беспорядочное бегство, а потом вдруг эта остановка.

– Что мы здесь делаем? Ты мне можешь сказать?

– Вроде бы ждем пехоту.

– Если пехотинцы не могут выбраться, то почему мы должны влипнуть на пару с ними?

Он скромно добавил:

– Понимаешь, я еврей. У меня польская фамилия.

– Знаю, – грустно ответил Матье.

– Замолчите, – одернул их Шварц. – Слушайте!

Послышался приглушенный продолжительный грохот. Вчера и позавчера он длился с утра до ночи. Никто не знал, кто стреляет и в кого.

– Сейчас должно быть около шести, – сказал Пинетт. – Вчера они начали в пять сорок пять.

Матье поднял запястье к глазам и повернул его, чтобы посмотреть на часы:

– Сейчас пять минут седьмого.

– Пять минут седьмого, – повторил Шварц. – Я удивлюсь, если мы уйдем сегодня. – Он зевнул. – Что ж! Еще один день в этой дыре.

Сержант Пьерне тоже зевнул.

– Ладно, – сказал он. – Нужно вставать.

– Да, – согласился Шварц. – Да, да. Нужно вставать.

Никто не пошевелился. Рядом с ними зигзагами промчалась кошка. Внезапно она притаилась, будто собираясь прыгнуть; затем, забыв о своем намерении, небрежно удалилась. Матье приподнялся на локте и проследил за ней взглядом. Вдруг он увидел пару кривых ног в обмотках цвета хаки и поднял голову: перед ними стоял лейтенант Юльманн; скрестив руки и подняв брови, он смотрел на них. Матье отметил, что он небрит.

– Что вы здесь делаете? Ну что вы здесь делаете? Вы что, совсем рехнулись? Скажете вы мне, что вы здесь делаете?

Матье несколько мгновений подождал, и поскольку никто не отвечал, не вставая, ответил:

– Мы решили спать на свежем воздухе, господин лейтенант.

– Смотрите-ка! При вражеских-то облетах! Ваши капризы могут нам дорого обойтись: из-за вас могут разбомбить дивизию.

– Немцы хорошо знают, что мы здесь, потому что мы совершали все перемещения среди белого дня, – терпеливо возразил Матье.

Лейтенант, казалось, не слышал.

– Я вам это запретил, – сказал он. – Я вам запретил покидать крытую ригу. И что это за манера лежать в присутствии старшего по званию?

На уровне земли произошла вялая возня, и восемь человек сели на одеялах, моргая полусонными глазами. Голый Шарло прикрыл половой член носовым платком. Было прохладно. Матье вздрогнул и поискал вокруг себя куртку, чтобы набросить ее на плечи.

– И вы тоже здесь, Пьерне! Вам не стыдно, вы же сержант! Вы должны бы подавать пример.

Пьерне, не отвечая, поджал губы.

– Невероятно! – воскликнул лейтенант. – Вы наконец объясните мне, почему вы покинули ригу?

Он говорил без убеждения, голосом свирепым и усталым; под глазами у него были круги, и свежий цвет его лица поблек.

– Нам было слишком жарко, господин лейтенант. Мы не могли уснуть.

– Слишком жарко? А что вам нужно? Спальню с кондиционером? Сегодня ночью я пошлю вас спать в школу. С остальными. Вы что, забыли, что мы на войне?

Лонжен махнул рукой.

– Война закончилась, господин лейтенант, – сказал он, странно улыбаясь.

– Она не закончилась. Постыдились бы говорить, что она закончилась, когда в тридцати километрах отсюда парни гибнут, прикрывая нас.

– Бедняги, – не унимался Лонжен. – Их гонят на гибель, в то время как на носу перемирие.

Лейтенант сильно покраснел.

– Во всяком случае, вы пока еще солдаты. Пока вас не отошлют по домам, вы остаетесь солдатами и будете повиноваться своим командирам.

– Даже в лагерях для военнопленных? – спросил Шварц.

Лейтенант не ответил: он с презрительной робостью смотрел на солдат; люди отвечали на его взгляд без нетерпения и смущения: им нравилось новое удовольствие – вызывать робость. Помешкав, лейтенант пожал плечами и круто повернулся.

– Будьте любезны быстро встать, – сказал он через плечо.

Он удалился, очень прямой, танцующим шагом. «Его последний танец, – подумал Матье, – через несколько часов немецкие пастухи погонят нас всех на восток толпой без различия в чинах». Шварц зевнул и заплакал; Лонжен закурил сигарету; Шарло вырывал вокруг себя пучками траву: все они боялись встать.

– Видели? – спросил Люберон. – Он сказал: «Я вас отошлю спать в школу». Значит, мы не уходим.

– Он сказал просто так, – возразил Шарло. – Он знает не больше нашего.

Сержант Пьерне внезапно взорвался:

– Тогда кто знает?! Кто знает?!

Никто не ответил. Через какое-то время Пинетт вскочил на ноги.

– Ну что, умываться? – предложил он.

– Хорошо бы, – зевая, сказал Шарло.

Он встал. Матье и сержант Пьерне тоже встали.

– Ой, какой у нас младенец! – крикнул Лонжен.

Розовый, голый, без растительности, с розовыми щеками и маленьким толстеньким животиком, обласканный светлым утренним солнцем, Шарло был похож на самого красивого младенца Франции. Шварц, крадучись, подошел к нему сзади, как каждое утро.

– Ты дрожишь от страха, – приговаривал он, щекоча его. – Ты дрожишь от страха, младенец.

Шарло смеялся и, извиваясь, вскрикивал, но не так резво, как обычно. Пинетт обернулся к Лонжену, тот с упрямым видом курил.

– Ты не идешь?

– Куда?

– Умываться!

– К чертям! – сказал Лонжен. – Умываться! Для кого? Для фрицев? Они меня и таким возьмут.

– Никто тебя не возьмет.

– Да ладно уж! – прикрикнул Лонжен.

– Можно еще выкарабкаться, черт возьми! – сказал Пинетт.

– Ты что, веришь в сказки?

- Даже если тебя возьмут, это еще не значит, что надо оставаться грязным.
- Я не хочу умываться для них.
- Какую ерунду ты несешь! – возмутился Пинетт. – Глупее не бывает!

Лонжен, не отвечая, ухмыльнулся: он с видом превосходства лежал на одеяле. Люберон тоже не пошевелился: он притворился спящим. Матье взял свой рюкзак и подошел к желобу. Вода текла по двум чугунным трубам в каменное корыто; она была холодная и голая, как кожа; всю ночь Матье слышал ее полный надежды шепот, ее детский вопрос. Он погрузил голову в корыто, легкое пение стихии стало немой и свежей прохладой в его ушах, в его ноздрях, букетом влажных роз, цветами воды в его сердце: купание в Луаре, тростник, зеленый островок, детство. Когда он выпрямился, Пинетт яростно мылил шею. Матье ему улыбнулся: ему нравился Пинетт.

- Он осел, этот Лонжен. Если фрицы притащатся, нужно быть чистым.

Он засунул палец в ухо и яростно завращал им.

- Если уж ты такой чистюля, – со своего места крикнул ему Лонжен, – вымой заодно и ноги!

Пинетт бросил на него сострадательный взгляд.

- Их же не видно.

Матье начал бриться. Лезвие было старым и жгло кожу. «В плену отпущу бороду». Солнце вставало. Его длинные косые лучи скашивали траву; под деревьями трава была нежной и свежей, ложбина сна на боках утра. Земля и небо были полны знамений, знамений надежды. В тополиной листве, повинаясь невидимому сигналу, в полный голос защебетало множество птиц, это был маленький металлический шквал чрезвычайной силы, потом они все вместе таинственно замолчали. Тревога вращалась кругами посреди зелени и толстощеких овощей, как на лице Шарло; ей не удавалось нигде остановиться. Матье старательно вытер бритву и положил ее в рюкзак. Сердце его было в стоворе с зарей, росой, тенью; в глубине души он ждал праздника. Он рано встал и побрился, как для праздника. Праздник в саду, первое причастие или свадьба с крутящимися красивыми платьями в грабовой аллее, стол на лужайке, влажное жужжание ос, опьяненных сахаром. Люберон встал и пошел помочиться к изгороди; Лонжен вошел в ригу, держа одеяла под мышкой; затем он появился, апатично подошел к желобу и намочил в воде палец с насмешливым и праздным видом. Матье не было необходимости долго смотреть на это бледное лицо, чтобы почувствовать, что праздника больше не будет, ни сейчас, ни когда-либо после.

Старый фермер вышел из дома. Курая трубку, он смотрел на них.

- Привет, папаша! – сказал Шарло.

- Привет, – ответил фермер, качая головой. – Э! Да уж. Привет!

Он сделал несколько шагов и стал перед ними.

- Ну что? Вы не ушли?

- Как видите, – сухо сказал Пинетт.

Старик ухмыльнулся, вид у него был недобрый.

- Я же вам говорил. Вы не уйдете.

- Может, и так.

Он сплюнул под ноги и вытер усы.

- А боши? Они сегодня придут?

Все засмеялись.

- Может, да, а может, нет, – ответил Люберон. – Мы, как и вы, ждем их: приводим себя в порядок, чтобы встретить их достойно.

Старик со странным видом посмотрел на них.

- Вы другое дело, – сказал он. – Вы выживете.

Он затанулся и добавил:

– Я эльзасец.

– Знаем, папаша, – вмешался Шварц, – смените пластинку.

Старик покачал головой:

– Странная война. Теперь гибнут гражданские, а солдаты выкарабкиваются.

– Да ладно! Вы же знаете, никто вас не убьет.

– Я же тебе говорю, что я эльзасец.

– Я тоже эльзасец, – сказал Шварц.

– Может, и так, – ответил старик, – только когда я уезжал из Эльзаса, он принадлежал им.

– Они вам не причинят зла, – уговаривал его Шварц. – Они такие же люди, как и мы.

– Как и мы! – внезапно возмутился старик. – Сучий потрох! Ты тоже смог бы отрезать руки у ребенка?

Шварц разразился смехом.

– Он нам рассказывает сказки о прошлой войне, – подмигивая Матье, сказал он.

Шварц взял полотенце, вытер большие мускулистые руки и, повернувшись к старику, объяснил:

– Они же не психи. Они вам дадут сигареты, да! И шоколад, это называется пропагандой, а вам останется только принять их, это ни к чему не обязывает.

Потом, все еще смеясь, добавил:

– Я вам говорю, папаша, сегодня лучше быть уроженцем Страсбурга, чем Парижа.

– Я на старости лет не хочу становиться немцем, – сказал фермер. – Сучий потрох! Пусть лучше меня расстреляют.

Шварц хлопнул себя по ляжке.

– Вы слышите? Сучий потрох! – передразнил он старика. – Лично я предпочитаю быть живым немцем, а не мертвым французом.

Матье быстро поднял голову и посмотрел на него; Пинетт и Шарло тоже на него смотрели. Шварц перестал смеяться, покраснел и пожал плечами. Матье отвел глаза, он не имел склонности к судейству, к тому же он любил этого большого крепкого парня, спокойного и стойкого в трудностях; ему вовсе не хотелось увеличивать его неловкость. Никто не проронил ни слова; старик покачал головой и зло посмотрел на них.

– Эх, – сказал он, – не нужно было проигрывать эту войну. Не нужно было ее проигрывать.

Они молчали; Пинетт кашлянул, подошел к желобу и с идиотским видом начал шупать кран. Старик вытряхнул трубку на дорожку, потоптал каблуком землю, чтобы зарыть пепел, потом повернулся к ним спиной и медленно вернулся в дом. Наступило долгое молчание. Шварц держался очень напряженно, расставив руки. Через некоторое время он, казалось, очнулся и с усилием засмеялся:

– Я нарочно сказал, чтобы над ним подшутить.

Ответа не последовало: все смотрели на него. И потом внезапно, хотя по видимости ничего не изменилось, что-то дрогнуло, наступила разрядка, нечто вроде неподвижного рассеивания; маленькое разгневанное общество, которое образовалось вокруг него, разбредось, Лонжен снова принялся ковырять в зубах ножом, Люберон прочистил горло, а Шарло с невинным взглядом начал напевать; им никогда не удавалось упорствовать в возмущении, если речь не шла об увольнительных или еде. Матье вдруг вдохнул робкий аромат полыни и мяты: после птиц пробуждались травы и цветы; они испускали запахи, как птицы до этого испускали крики. «Действительно, – подумал Матье, – есть еще и запахи». Запахи зеленые и веселые, и мелкие, и кислые: они будут все более и более сладкими, все более и более пышными и женственными по мере того, как заголубеет небо и приблизятся немецкие танкетки. Шварц шумно потянул носом и посмотрел на скамейку, которую они накануне подтащили к стене дома.

– Ладно, – сказал он, – ладно, ладно.

Он сел на скамейку, опустил руки между коленями и ссутулился, но голову держал высоко и сурово смотрел прямо перед собой. Матье поколебался, потом подошел к нему и сел рядом. Немного погодя Шарло отделился от группы и стал перед ними. Шварц поднял голову и серьезно посмотрел на Шарло.

– Мне нужно постирать белье, – сообщил он.

Наступило молчание. Шварц все еще смотрел на Шарло.

– Не я проиграл эту войну...

Шарло как будто смутился; он засмеялся. Но Шварц продолжал свою мысль:

– Если бы все поступили, как я, ее можно было и выиграть. Мне не в чем себя упрекнуть.

Он с удивленным видом почесал щеку.

– Это забавно! – сказал он.

Это забавно, подумал Матье. Да, это забавно. Он смотрит в пустоту, он думает: «Я француз» и впервые в жизни считает это забавным. Это забавно. Франция – мы ее никогда не видели, мы были внутри, это было давление воздуха, притяжение земли, пространство, видимость, спокойная уверенность, что мир создан для человека; так естественно было быть французом; это было самое простое, самое экономичное средство чувствовать себя всемирным. Ничего не нужно объяснять; это другим – немцам, англичанам, бельгийцам – нужно объяснять, из-за какой незадачи или ошибки они были не совсем людьми. Теперь Франция легла навзничь, и мы ее видим, мы видим большой поврежденный механизм и думаем: вот и случилось. Плохой участок почвы, плохой поворот истории. Мы пока еще французы, но это больше не естественно. Достаточно было плохого поворота, чтобы дать нам понять, что мы случайны. Шварц думает, что он случаен, он больше сам себя не понимает, он обременен самим собой; он думает: как можно быть французом? Он думает: «Если бы мне чуть-чуть повезло, я мог бы родиться немцем». Теперь он принимает суровый вид и напрягает слух, пытаясь услышать, как катится к нему его сменная родина; он ждет сверкающие армии, которые устроят ему праздник; он ждет того момента, когда сможет обменять наше поражение на их победу, когда ему покажется естественным быть победителем и немцем.

Шварц, зевая, встал.

– Что ж, – сказал он, – пойду стирать белье.

Шарло развернулся и присоединился к Лонжену, который разговаривал с Пинеттом. Матье остался один на скамейке.

В свою очередь, шумно зевнул Люберон.

– Как здесь осточертело! – в сердцах произнес он.

Шарло и Лонжен зевнули. Люберон посмотрел, как они зевают, и снова зевнул.

– Эх, хорошо бы, – сказал он, – сейчас потрахаться.

– Ты что, можешь трахаться в шесть часов утра? – возмущенно спросил Шарло.

– Я? В любое время.

– А я нет. У меня трахаться не больше желания, чем получать пинки в зад.

Люберон ухмыльнулся.

– Был бы ты женат, ты б научился делать это и без желания, дурак! Что хорошо в траханье, так это то, что по ходу ни о чем не думаешь.

Они замолчали. Тополя дрожали, вечное солнце дрожало среди листвы; издали слышался добродушный грохот канонады, такой повседневный, такой успокаивающий, что его можно было принять за шум природы. Что-то оборвалось в воздухе, и оса совершила среди них долгое изящное пики.

– Послушайте! – сказал Люберон.

– Что это?

Вокруг них было что-то вроде пустоты, странное спокойствие. Птицы пели, на заднем дворе кричал петух; вдалеке кто-то равномерно бил по куску железа; однако это была тишина: канонада прекратилась.

– Э! – удивленно протянул Шарло. – Э! Скажи-ка!

– Ага.

Они прислушались, не переставая смотреть друг на друга.

– Так все и начинается, – равнодушным тоном проговорил Пьерне. – В определенный момент по всему фронту наступает тишина.

– По какому фронту? Фронта нет.

– Ну, повсюду.

Шварц робко шагнул к ним.

– Знаете, – сказал он, – я думаю, сначала должен быть сигнал горна.

– Придумал! – возразил Ниппер. – Связи больше нет; даже если бы они заключили мир сутки тому назад, мы бы его все еще ждали.

– Может быть, война кончилась уже с полуночи, – сказал Шарло, смеясь от надежды. – Прекращение огня всегда происходит в полночь.

– Или в полдень.

– Да нет же, глупый, в ноль часов, понимаешь?

– Да замолчите же! – прикрикнул Пьерне.

Они замолчали. Пьерне прислушивался с нервным тиком на лице; у Шарло был полуоткрыт рот; сквозь оглушающую тишину они вслушивались в Мир. Мир без славы и без колокольного звона, без барабанов и труб, Мир, похожий на смерть.

– Мать твою! – выругался Люберон.

Гул возобновился, он казался менее глухим, более близким и угрожающим. Лонжен скрестил длинные руки и хрустнул пальцами. Он с досадой сказал:

– Черт побери, чего они ждут? Они думают, что мы еще недостаточно разгромлены? Что мы потеряли недостаточно людей? Неужели нужно, чтобы Франция полностью пропала, а иначе они не остановят бойню?

Все были вялы, издерганы, уязвлены, с землистыми лицами людей, страдающих несварением. Достаточно было удара барабана на горизонте – и большая волна войны снова обрушилась на них. Пинетт резко повернулся к Лонжену. Его глаза смотрели остервенело, пальцы стиснули край желоба.

– Какая бойня? А? Какая бойня? Где они, убитые и раненые? Если ты их видел, значит, тебе повезло. Я же видел только трусов вроде тебя, которые бегали по дорогам с дрейфометром на шее.

– Что с тобой, дурачок? – с ядовитым участием спросил Лонжен. – Ты себя плохо чувствуешь?

Он бросил на остальных многозначительный взгляд:

– Он был хороший паренек, наш Пинетт, его очень любили, потому что он сачковал, как и мы, уж он не вышел бы вперед, если бы потребовался доброволец. Жалко, что он хочет повоевать теперь, когда война уже закончена.

Глаза Пинетта сверкнули:

– Ничего я не хочу, мудило!

– Хочешь! Ты хочешь в солдатики поиграть.

– И то лучше, чем обдѣлываться, как ты.

– Слыхали: я обдѣлываюсь, потому что сказал, что французская армия получила взбучку.

– А ты уверен, что французская армия получила взбучку? – заикаясь от гнева, спросил Пинетт. – Ты что, посвящен в тайны главнокомандующего, генерала Вейгана?

Лонжен заносчиво и устало улыбнулся:

– Кому нужны тайны главнокомандующего: половина войск беспорядочно отступает, а другая окружена; тебе этого мало?

Пинетт рубанул воздух рукой:

– Мы перегруппируемся на Луаре, а в Сомюре соединимся с Северной армией.

– Ты в это веришь, умник?

– Так мне сказал капитан. Спроси у Фонтена.

– Северной армии придется повернуться, потому что у них на хвосте боши. А что до нас, то мы вряд ли с ними встретимся.

Пинетт исподлобья посмотрел на Лонжена, тяжело дыша и топая ногой. Он сердито тряхнул плечами, как бы намереваясь сбросить ношу. Наконец он зло и затравленно проговорил:

– Даже если мы отступим до Марселя, даже если пересечем всю Францию, останется Северная Африка.

Лонжен скрестил руки и презрительно улыбнулся:

– А почему не Сен-Пьер и Микелон⁸, болван?

– Ты себя считаешь умником? Скажи, ты себя считаешь умником? – спросил Пинетт, наступая на него.

Шарло бросился между ними.

– Ну! Ну! – сказал он. – Вы что, собираетесь ссориться? Все согласны, что война ничего не решает и что вообще больше не нужно воевать. Бог нам в помощь! – воскликнул он пылко. – Вообще никогда!

Он напряженно смотрел на всех, он дрожал от страсти. Страсти всех примирить: Пинетта и Лонжена, немцев и французов.

– Наконец, – почти умоляющим голосом сказал он, – нужно суметь с ними поладить, они ведь не собираются всех нас уничтожить.

Пинетт обратил свое бешенство на него:

– Если война проиграна, то лишь из-за таких, как ты.

Лонжен ухмылялся:

– Еще один никак не поймет.

Наступило молчание; потом все медленно повернулись к Матье. Он этого ждал: в конце каждого спора его делали арбитром, так как он был самый образованный.

– Что ты об этом думаешь? – спросил Пинетт.

Матье опустил голову и не ответил.

– Ты что, глухой? Тебя спрашивают, что ты об этом думаешь?

– Ничего, – ответил Матье.

Лонжен пересек тропинку и стал перед ним:

– Как – ничего? Преподаватель все время думает.

– Что ж, как видишь, не все время.

– Ты все-таки не дурак: ты хорошо знаешь, что сопротивление невозможно.

– Откуда мне это знать?

В свою очередь, подошел и Пинетт. Они стояли по обе стороны Матье, словно его добрый и злой ангелы.

– Ведь ты не пал духом, – сказал Пинетт. – Неужто ты считаешь, что французы не должны сражаться до конца?

Матье пожал плечами:

– Если бы сражался я, я мог бы иметь свое мнение. Но погибают другие, сражаться будут на Луаре, и я не могу решать за них.

⁸ Острова у восточного побережья Канады, колонии Франции.

– Вот видишь, – сказал Лонжен, насмешливо глядя на Пинетта, – бойню за других не решают.

Матье встревоженно посмотрел на него:

– Я этого не сказал.

– Как не сказал? Ты только что это сказал.

– Если бы оставался шанс, – промолвил Матье, – совсем крохотный шанс...

– И что?

Матье покачал головой:

– Как знать?..

– И что же это означает? – спросил Пинетт.

– Это означает, – объяснил Шарло, – что осталось только ждать, стараясь при этом не портить себе кровь.

– Нет! – крикнул Матье. – Нет!

Он резко встал, сжимая кулаки.

– Я жду с самого детства!

Они недоуменно смотрели на него, он понемногу успокоился.

– Что означает наше решение? – сказал он. – Кто спрашивает наше мнение? Вы отдаете себе отчет в нашем положении?

Они испуганно попятились.

– Ладно, – сказал Пинетт, – ладно, мы его знаем.

– Ты прав, – сказал Лонжен, – солдат не имеет права на собственное мнение.

Его холодная и слюнявая улыбка ужаснула Матье.

– Пленный еще меньше, – сухо ответил он.

Всё спрашивает у нас нашего мнения. Всё. Большой вопрос окружает нас: это фарс. Нам задают вопрос, как людям; нас хотят заставить думать, что мы еще люди. Но нет. Нет. Нет. Какой фарс – эта тень вопроса, который задают одни тени войны другим.

– А что за польза иметь собственное мнение? Решать-то не тебе.

Матье замолчал. Он вдруг подумал: «Нужно будет жить». Жить, срывая день за днем заплесневелые плоды поражения, платить за этот тотальный выбор, от которого он сегодня отказывался. «Но, Боже мой! Я не хотел ни этой войны, ни этого поражения: что за фокус – обязывать меня нести за них ответственность?» Он почувствовал, как в нем поднимается гнев – ярость попавшего в ловушку зверя, и, подняв голову, он увидел, как такой же гнев блестит в глазах его товарищей. Крикнуть в небо всем вместе: «Мы не имеем ничего общего с этой бойней! Мы не имеем ничего общего с этой бойней! Мы невиновны!» Его порыв угас: безусловная невиновность сияла в утреннем солнце, ее можно было ощутить на листьях травы. Но она так мала: истиной была эта неуловимая общая вина, наша вина. Призрак войны, призрак поражения, призрачная виновность. Он по очереди посмотрел на Пинетта и Лонжена и развел руками: он не знал, хотел ли он им помочь или попросить у них помощи. Они тоже посмотрели на него, потом отвернулись и удалились. Пинетт смотрел себе под ноги. Лонжен улыбался самому себе напряженной и смущенной улыбкой; Шварц стоял в стороне с Ниппером, они говорили друг с другом по-эльзасски, они уже были похожи на двух сообщников; Пьерне судорожно сжимал и разжимал правый кулак. Матье подумал: «Вот чем мы стали».

Марсель, 14 часов

Разумеется, он сурово осуждал грусть, но когда в нее впадаешь, чертовски трудно от нее избавиться. «Должно быть, у меня несчастный характер», – подумал он. У него было много поводов радоваться, в частности, он мог бы себя поздравить с тем, что избежал перитонита, выздоровел. Но вместо этого он думал: «Я пережил самого себя» и сокрушался. В грусти

именно причины радоваться становятся грустными, и радуешься грустно. «Однако, – подумал он, – я умер». Насколько это зависело от него, он умер в Седане в мае сорокового года: скукой были все те годы, которые ему оставалось жить. Он снова вздохнул, проследил взглядом за большой зеленой мухой, ползающей по потолку, и решил: «Я – посредственность».

Эта мысль была ему глубоко неприятна. До сих пор Борис выдерживал правило никогда не задумываться о себе и чувствовал себя превосходно; с другой стороны, пока речь шла только о том, чтобы погибнуть, его посредственность не имела такого уж значения: наоборот, меньше оснований для сожалений. Но теперь все изменилось: ему выпала участь жить, и он вынужден был признать, что не имел для этого ни призвания, ни таланта, ни денег. Короче, ни одного потребного качества, кроме здоровья. «Как я буду скучать!» – подумал он. И почувствовал себя обманутым. Муха, жужжа, улетела. Борис провел рукой под рубашкой и погладил шрам, который прочертил его живот на уровне паха; он любил трогать этот маленький рубец плоти. Он смотрел на потолок, он гладил шрам, и на сердце у него было тяжело. В палату вошел Франсийон, направился к Борису, неторопливо шагая между пустыми койками, и вдруг остановился, разыгрывая удивление.

– Я тебя искал во дворе.

Борис не ответил. Франсийон негодуя скрестил руки.

– Два часа дня – а ты еще в постели!

– Я сам себе надоел, – сказал Борис.

– У тебя хандра?

– Никакая не хандра, просто я сам себе надоел.

– Не переживай. В конце концов это закончится.

Он сел у изголовья Бориса и начал скручивать папиросу. У Франсийона были большие глаза навывкате и нос, как орлиный клюв; вид у него был свирепый. Борис его очень любил: иногда, едва взглянув на него, он разражался безумным хохотом.

– Ждать недолго! – сказал Франсийон.

– А сколько?

– Четыре дня.

Борис посчитал по пальцам:

– Получается восемнадцатого.

Франсийон в знак согласия что-то пробормотал, лизнул клейкую бумагу, закурил папиросу и доверительно наклонился к Борису.

– Здесь никого нет?

Все койки были пусты: люди были во дворе или в городе.

– Как видишь, – сказал Борис. – Разве что шпионы под койками.

Франсийон нагнулся ниже.

– В ночь на восемнадцатое дежурит Блен, – объяснил он. – Самолет будет на площадке, готовый к отлету. Он нас пропустит в полночь, в два часа взлетаем, в Лондоне будем в семь. Что скажешь?

Борис ничего не ответил. Он щупал шрам и думал: «Они везучие», – и ему становилось все грустнее и грустнее. Сейчас он меня спросит, что я решил.

– А? Ну? Так что ты об этом думаешь?

– Я думаю, что вы везучие, – сказал Борис.

– Как везучие? Тебе остается только пойти с нами. Ты же не скажешь, что это для тебя неожиданность? Мы ведь тебя предупредили.

– Да, – признал Борис. – Это так.

– Так что же ты решил?

– Я решил: черта с два, – с раздражением ответил Борис.

– Однако же ты не собираешься оставаться во Франции?

– Не знаю.

– Война не закончена, – упрямо сказал Франсийон. – Те, кто говорит, что она закончена, трусы и лжецы. Ты должен быть там, где сражаются; ты не имеешь права оставаться во Франции.

– И ты меня в этом уверяешь? – горько спросил Борис.

– Тогда решай.

– Подожди. Я жду приятельницу, я тебе об этом говорил. Решу, когда ее увижу.

– Тут не до приятельниц: это мужское дело.

– Сделаю, как сказал, – сухо промолвил Борис.

Франсийон смутился и замолчал. «А вдруг он решит, что я их выдам?» Борис заглядывал ему в глаза, пока не увидел на лице Франсийона доверчивой улыбки, которая его успокоила.

– Вы прилетите в семь? – спросил Борис.

– В семь.

– Берега Англии по утрам должны быть восхитительны. Со стороны Дувра там большие белые утесы.

– Да, – подтвердил Франсийон.

– Я никогда не летал самолетом, – сказал Борис.

Он вынул руку из-под рубашки.

– Тебе случается чесать шрам?

– Нет.

– Я свой все время чешу: это меня раздражает.

– Если вспомнить, где расположен мой, – сказал Франсийон, – мне было бы сложно чесать его на людях.

Наступило молчание, потом Франсийон продолжил:

– Когда придет твоя приятельница?

– Не знаю. Она должна приехать из Парижа – попробуй доберись оттуда!

– Ей лучше поторопиться, – заметил Франсийон, – потому что времени у нас в обрез.

Борис вздохнул и повернулся на живот. Франсийон равнодушно продолжал:

– Свою я оставляю в неведении, хотя я ее вижу каждый день. В вечер отъезда я ей pošлю письмо: когда она его получит, мы будем уже в Лондоне.

Борис, не отвечая, покачал головой.

– Ты меня удивляешь, – сказал Франсийон. – Сергин, ты меня удивляешь!

– Кое-что тебе не понять, – ответил Борис.

Франсийон замолчал, протянул руку и взял книгу. Они пролетят над утесами Дувра ранним утром. Но что толку об этом думать: Борис не верил в чудеса, он знал, что Лола скажет нет.

– «Война и мир», – прочел Франсийон. – Что это?

– Это роман о войне.

– О войне четырнадцатого года?

– Нет. О другой. Но там всегда одно и то же.

– Да, – смеясь, согласился Франсийон, – там всегда одно и то же.

Он наугад открыл книгу и погрузился в чтение, хмуря брови с видом горестного интереса.

Борис снова прилег на койку. Он думал: «Я не могу причинить *ей* боль, я не могу уйти второй раз, не поговорив с ней. Если я останусь ради нее, это будет доказательством любви. Да уж, странное получается доказательство». Но есть ли у солдата право оставаться ради женщины? Франсийон и Габель, разумеется, скажут, что нет. Но они слишком молоды, они не знают, что такое любовь. «Что такое любовь, я уже знаю, тут меня просвещать не надо, и я знаю ее цену. Следует ли остаться, чтобы сделать женщину счастливой? При таком раскладе скорее всего что нет. Но можно ли уехать, сделав при этом кого-то несчастным?» Он вспомнил высказывание Матье: «У меня всегда хватит храбрости, чтобы при необходимости доставить

кому-то страдание». Все так, но Матье всегда поступал обратно своим словам, и храбрости доставить кому-то горе ему явно не хватало. У Бориса сжалось горло: «А что, если это просто безрассудная выходка? Что, если это чистейший эгоизм: отказ от тягот гражданской жизни? А может, я прирожденный искатель приключений? А может, вообще погибнуть легче, чем жить? А может, я остаюсь из-за любви к комфорту, из-за страха, из-за желания иметь под рукой женщину?» Он обернулся. Франсийон склонился над книгой прилежно и в то же время с каким-то недоверием, как будто он пытался уличить автора в неправде. «Если я смогу ему сказать: я еду, если это слово сможет сорваться с моих губ, то так тому и быть». Он прочистил горло, приоткрыл рот и ждал. Но слово не шло на язык. «Я не могу причинить ей такое горе». Борис понял, что без совета Лолы он ничего не решит. «Она, безусловно, скажет нет, и все будет улажено. А если она не придет вовремя? – испуганно подумал он. – Если ее не будет к восемнадцатому? Нужно будет решать одному? Предположим, я остался, она приезжает двадцатого и говорит: я бы позволила тебе уехать. То-то физиономия у меня будет. Другое предположение: я уезжаю, она приезжает девятнадцатого и кончает с собой. Ох! Дьявол!» Все перемешалось у него в голове, он закрыл глаза и погрузился в сон.

– Сергин! – крикнул от двери Берже. – Тебя во дворе ждет девушка.

Борис вздрогнул, Франсийон поднял голову.

– Это твоя приятельница.

Борис опустил ноги и почесал стриженую голову.

– Держи карман шире, – зевая, сказал он. – Нет, сегодня меня навещает сестра.

– Да? Сегодня тебя навещает сестра? – ошалело повторил Франсийон. – Это та девушка, которая была с тобой прошлый раз?

– Да.

– Она недурна, – вяло заметил Франсийон.

Борис замотал обмотки и надел куртку; он двумя пальцами отдал честь Франсийону, пересек палату и, посвистывая, спустился по лестнице. На середине лестницы он остановился и рассмеялся. «Забавно! – подумал он. – Забавно, что я печален». Ему вовсе не хотелось видеть Ивиш. «Когда мне грустно, она не помогает, – подумал он, – наоборот, удручает».

Ивиш ждала его во дворе госпиталя: вокруг кружили солдаты, поглядывая на нее, но она не обращала на них внимания. Она издали улыбнулась ему:

– Здравствуй, братик!

Увидев Бориса, солдаты засмеялись и закричали; они его очень любили. Борис приветственно махнул им рукой, но без удовольствия отметил, что никто ему не говорит: «Счастливчик» или «Лучше бы мне ее иметь в своей постели, чем винтовку». Действительно, после выкидыша Ивиш сильно постарела и подурнела. Естественно, Борис по-прежнему гордился ею, но уже как-то иначе.

– Здравствуй, страхолюдина, – сказал он, касаясь шеи Ивиш кончиками пальцев.

От нее теперь всегда веяло одеколоном и лихорадкой. Он беспристрастно оглядел ее.

– Ты паршиво выглядишь, – сказал он.

– Знаю. Я безобразна.

– Ты больше не красишь губы?

– Нет, – жестко сказала она.

Они замолчали. На ней была ярко-красная блузка с закрытым воротом, очень русская, которая делала ее еще бледней. Ей бы очень пошло открыть немного плечи и грудь: у нее были очень красивые круглые плечи. Но она предпочитала закрытые блузки и слишком длинные юбки: можно подумать, что она стыдилась своего тела.

– Останемся здесь? – спросила она.

– У меня есть право выходить в город.

– Автомобиль ждет нас, – сказала Ивиш.

– Он не здесь? – испуганно спросил Борис.

– Кто?

– Свекор.

– Еще чего!

Они пересекли двор и прошли через ворота. Увидев огромный зеленый «бьюик» господина Стюреля, Борис почувствовал, до чего он раздосадован:

– В следующий раз скажи, чтобы он ждал на углу улицы.

Они сели в автомобиль; он был до смешного просторным, в нем можно было затеряться.

– Здесь можно играть в жмурки, – процедил сквозь зубы Борис.

Шофер обернулся и улыбнулся Борису; это был кряжистый и подбострастный мужчина с седыми усами.

– Куда отвезти мадам?

– Что скажешь? – спросил Борис.

Ивиш подумала:

– Я хочу видеть людей.

– Тогда на ла Канебьер?

– Ла Канебьер? Нет! Да, да, если хочешь.

– На набережные на углу ла Канебьер, – сказал Борис.

– Хорошо, месье Сергин.

«Бездельник!» – подумал Борис. Машина тронулась, и Борис стал смотреть в окно, ему не хотелось разговаривать, потому что шофер мог их слышать.

– Ну что Лола? – спросила Ивиш.

Он повернулся к ней: у нее был совершенно непринужденный вид; он приложил палец к губам, но она повторила звучно и громко, как будто шофер был просто деревянной чуркой:

– Как Лола? У тебя есть от нее известия?

Он, не отвечая, пожал плечами.

– Эй!

– Известий нет, – сказал он.

Когда Борис лечился в Туре, Лола приехала и поселилась рядом с ним. В начале июня его эвакуировали в Марсель, а она заехала в Париж, чтобы взять деньги в банке перед тем, как присоединиться к нему. С тех пор произошли «события», и он больше ничего не знал. Толчок бросил его на Ивиш; они занимали так мало места в «бьюике», что он вспомнил время, когда они только что приехали в Париж: они развлекались, считая себя двумя сиротами, заблудившимися в Париже, и часто вот так прижимались друг к другу на скамье в «Доме» или в «Куполе». Он поднял голову, собираясь напомнить ей об этом, но увидел, какая она угрюмая, и только сказал:

– Париж взят, ты знаешь?

– Знаю, – безразлично сказала Ивиш.

– А что твой муж?

– Никаких известий.

Она наклонилась к нему и тихо сказала:

– Пусть он подохнет.

Борис бросил взгляд на шофера и увидел, что тот смотрит на них в зеркало. Он толкнул локтем Ивиш, и она замолчала: но на ее губах сохранялась злобная и мрачная улыбка. Машина остановилась в нижней части ла Канебьер. Ивиш спрыгнула на тротуар и повелительно-непринужденно сказала шоферу:

– Заедете за мной в кафе «Риш» в пять часов.

– До свидания, месье Сергин, – любезно попрощался шофер.

– Пока, – раздраженно сказал Борис.

Он подумал: «Я вернусь на трамвае». Он взял Ивиш за руку, и они пошли вверх по ла Канебьер. Мимо прошли офицеры; Борис их не поприветствовал, и их это, похоже, нисколько не задело. Борис был раздосадован, потому что женщины на него оборачивались.

– Ты не отдаешь честь офицерам? – спросила Ивиш.

– Зачем?

– На тебя смотрят женщины, – заметила Ивиш.

Борис не ответил; одна брюнетка улыбнулась ему, Ивиш живо обернулась.

– Да, да, он красив, – сказала она в спину брюнетке.

– Ивиш! – взмолился Борис. – Не привлекай к нам внимания.

Это была новая надоевшая песенка. Однажды утром кто-то сказал ему, что он красив, и с тех пор все ему это повторяли, Франсийон и Габель прозвали его «Рожица Амура». Естественно, Борис не поддавался на лесть, но это раздражало, потому что красота – не мужское качество. Было бы предпочтительнее, чтобы все эти бабы занимались своими ягодицами, а мужчины, проходя, немного обращали внимание на Ивиш, не слишком, но как раз достаточно, чтобы она чувствовала себя привлекательной.

На террасе кафе «Риш» почти все столики были заняты; они сели среди смазливых темноволосях девок, офицеров, элегантных солдат, пожилых мужчин с жирными руками; безобидная доброжелательная публика, их можно убить, но не причиняя им боли. Ивиш принялась дергать себя за локоны. Борис спросил ее:

– Что-то не так?

Она пожала плечами. Борис вытянул ноги и ощутил скуку.

– Что будешь пить? – спросил он.

– У них хороший кофе?

– Так себе.

– Я до смерти хочу выпить кофе. Там они варят отвратительный.

– Два кофе, – сказал Борис официанту. Он повернулся к Ивиш и спросил: – Как у тебя дела со свекром и свекровью?

Страсть угасла на лице Ивиш.

– Нормально. Постепенно становлюсь похожей на них. – Она, усмехнувшись, добавила: – Свекровь говорит, что я на нее похожа.

– Что ты делаешь целый день?

– К примеру, вчера я встала в десять часов, как можно медленнее привела себя в порядок. Так прошло полтора часа, затем читала газеты...

– Ты не умеешь читать газеты, – сурово сказал Борис.

– Да, не умею. За обедом говорили о войне, и мамаша Стюрель пустила слезу, вспомнив о своем дорогом сыночке; когда она плачет, ее губы приподнимаются, и мне всегда кажется, что сейчас она начнет смеяться. Потом мы вязали, и она мне, как женщина женщине, призналась: Жорж был слабого здоровья, когда был маленьким, представляешь, у него был энтерит в восемь лет, если бы ей пришлось выбирать между сыном и мужем, это было бы ужасно, но она предпочла бы, чтобы умер муж, потому что она больше мать, чем жена. Затем она мне говорила о своих болезнях: матка, кишечник и мочевого пузырь, кажется, с ними не все в порядке.

У Бориса на языке вертелась великолепная шутка: она пришла так быстро, что он засомневался, не вычитал ли он ее где-то? Однако нет. «Женщины между собой говорят о своем домашнем или физиологическом хозяйстве». Но фраза получалась немного педантичной, похоже на высказывание Ларошфуко. «Женщине нужно говорить о своем домашнем или физиологическом хозяйстве», или «когда женщина не говорит о своем домашнем хозяйстве, она говорит о своем физиологическом хозяйстве». Так, да, может быть... Он подумал, не рассказать ли эту шутку Ивиш? Но Ивиш все меньше и меньше понимала шутки. Он просто сказал:

– Ясно. А потом?

– Потом поднялась к себе в комнату и не выходила до ужина.

– И что ты там делала?

– Ничего. После ужина слушали новости по радио, потом комментировали их. Кажется, ничего непоправимого не произошло, нужно сохранять хладнокровие, Франция видывала времена и похуже. Потом я поднялась в свою комнату и заварила себе чай на электрической плитке. Я ее прячу, потому что она выбивает пробки один раз из трех. Потом я села в кресло и подождала, пока они уснут.

– И что тогда?

– Я вздохнула полной грудью.

– Тебе надо бы записаться в библиотеку, – сказал Борис.

– Когда я читаю, буквы прыгают у меня перед глазами. Я все время думаю о Жорже. Я помимо воли надеюсь, что мы вот-вот получим известие о его смерти.

Борис не любил своего зятя и никогда не понимал, что толкнуло Ивиш в сентябре тридцать восьмого года бежать из дому и броситься на шею этому длинному вялому типу. Но он охотно признавал, что тот не был подлецом; когда Жорж узнал, что Ивиш забеременела, он повел себя в высшей степени порядочно и настоял на их браке. Но было слишком поздно: Ивиш его ненавидела, потому что он сделал ей ребенка. Она говорила, что сама себе внушает ужас, она спряталась в деревне и не хотела видеть даже брата. Она, безусловно, покончила бы с собой, если бы так не боялась смерти.

– Какая гадость!

Борис вздрогнул.

– Что?

– Вот! – сказала она, показывая на свою чашку кофе.

Борис попробовал кофе и мирно сказал:

– Прямо скажем, не высший сорт! – Помедлив, он заметил: – Думаю, он будет становиться все хуже и хуже.

– Страна побежденных! – сказала Ивиш.

Борис осторожно посмотрел вокруг. Но никто не обращал на них внимания: люди благопристойно и сосредоточенно говорили о войне. Можно подумать, что они вернулись с похорон. Неся пустой поднос, прошел официант. Ивиш обратила на него взгляд чернильных глаз.

– Он отвратителен! – выкрикнула она.

Официант удивленно посмотрел на нее: у него были седые усы, Ивиш годилась ему в дочери.

– Этот кофе отвратителен, – сказала Ивиш. – Можете его унести.

Официант с любопытством смерил ее взглядом: она была слишком молода и не вызвала в нем робость. Когда он понял, с кем имеет дело, он грубо ухмыльнулся:

– Вы хотели бы мокко? Вы, может быть, не в курсе, что идет война?

– Я, может быть, и не в курсе, – живо ответила она, – но мой брат, который был недавно ранен, безусловно, знает это лучше вас.

Борис, пунцовый от смущения, отвел глаза. Она стала дерзкой и в карман за словом не лезла, но он сожалел о той поре, когда она злилась молча, опустив на лицо волосы: тогда было меньше неприятностей.

– В день, когда боши вошли в Париж, я не стал бы жаловаться на плохой кофе, – раздосадованно пробурчал официант.

Он ушел; Ивиш топнула ногой.

– У них только война на языке; они сами себя гонят воевать, и можно подумать, что этим гордятся. Пусть они проиграют эту войну, пусть проиграют хотя бы раз, только бы о ней больше не говорили.

Борис подавил зевок: вспышки Ивиш его больше не забавляли. Когда она была девушкой, одно удовольствие было смотреть, как она тербит волосы, топает ногами и косится, это могло развеселить на целый день. Теперь ее глаза оставались угрюмыми, казалось, в этом была некая нарочитость, в такие минуты Ивиш была похожа на их мать. «Она замужняя женщина, – с ужасом подумал Борис. – Замужняя женщина, со свекром и свекровью, с мужем на фронте и семейным автомобилем». Он недоуменно посмотрел на нее и отвел глаза, потому что почувствовал, что сейчас она вызовет у него отвращение. «Я уеду!» Он резко выпрямился: решение принято. «Я уеду, уеду с ними, я не могу больше оставаться во Франции». Ивиш что-то говорила.

– Что? – спросил он.

– Родители.

– Так что?

– Я говорю, что им не надо было уезжать из России; ты меня не слушаешь.

– Если бы они остались, их бы засадили в тюрьму.

– Во всяком случае, они не должны были заставлять нас принимать гражданство. Мы могли бы уехать к себе домой.

– У себя дома – это во Франции, – сказал Борис.

– Нет, в России.

– Во Франции, потому что они нам дали французское гражданство.

– Вот именно, – сказала Ивиш. – Они не должны были этого делать.

– Да, но ведь сделали.

– Мне это все равно. Раз они не должны были этого делать, значит, этого как бы нет.

– Будь ты сейчас в России, – сказал Борис, – ты бы там на стенку лезла.

– Мне это было бы все равно, потому что Россия – большая страна, и я бы испытывала гордость. А здесь я живу в стыде.

Она на мгновение замолчала, вид у нее был нерешительный. Борис блаженно посмотрел на нее; у него не было ни малейшего желания ей противоречить. «Она будет вынуждена обновиться, – с надеждой подумал он. – Ей уже просто нечего добавить».

Но у Ивиш было воображение: она подняла руку и сделала странный маленький бросок вперед, словно прыгала в воду.

– Ненавижу французов, – сказала она.

Господин, читавший рядом с ними газету, поднял голову и поглядел на них с рассеянным видом. Борис посмотрел ему прямо в глаза. Но почти сразу же господин встал: к нему подходила молодая женщина; он поклонился ей, она села, и они, улыбаясь, взяли друг друга за руки. Успокоенный, Борис повернулся к Ивиш. Это была большая коррида – Ивиш бормотала сквозь зубы:

– Я их ненавижу, ненавижу!

– Ты их ненавидишь, потому что они варят плохой кофе?

– Я их ненавижу за все.

Борис надеялся, что буря утихнет сама собой; но теперь стало ясно, что он ошибался и что нужно сопротивляться до последнего.

– А я их очень люблю, – сказал он. – Теперь, когда они проиграли войну, все на них будут нападать; но я их видел в деле, и уверяю тебя, что они сделали, что смогли.

– Вот видишь! – воскликнула Ивиш. – Вот видишь!

– Что я вижу?

– Почему ты говоришь: *они* сделали, что смогли? Если бы ты чувствовал себя французом, ты сказал бы *мы*.

Борис не сказал «мы» из скромности. Он покачал головой и нахмурил брови.

– Я не чувствую себя ни французом, ни русским, – ответил он. – Но я был там с другими солдатами, и мне с ними нравилось.

– Это кролики, – сказала она.

Борис притворился, будто не понимает.

– Да, замечательные кролики⁹.

– Нет, нет: кролики, которые удирают. Вот так! – показала она, пробегая пальцами по столу.

– Ты как все женщины, замечаешь только воинский героизм.

– Не в этом дело. Раз они собрались воевать, нужно было воевать до конца.

Борис устало поднял руки: «Раз они собрались воевать, нужно было воевать до конца». Безусловно. Именно об этом он еще вчера говорил с Габелем и Франсийоном. Но... его рука вяло опустилась: когда человек думает не так, как вы, трудно и утомительно доказывать ему, что он не прав. Но когда он придерживается вашего мнения, а ему нужно объяснить, что он ошибается, тут поневоле теряешься.

– Перестань, – попросил он.

– Кролики! – повторила Ивиш, улыбаясь от бешенства.

– Солдаты, которые были со мной, не были кроликами, – сказал Борис. – Там были даже отчаянные ребята.

– Ты мне говорил, что они боялись умереть?

– А ты? Ты не боишься умереть?

– Я женщина.

– Что ж, они боялись умереть, и это были мужчины. Это и называется храбростью. Они знали, чем рисковали.

Ивиш подозрительно посмотрела на него:

– Уж не хочешь ли ты сказать, что и ты боялся?

– Я не боялся умереть, потому что считал, что я за смертью туда и отправился.

Он посмотрел на свои ногти и равнодушно добавил:

– Но забавно то, что я все-таки боялся.

Ивиш резко дернулась назад.

– Но из-за чего?

– Не знаю. Может быть, из-за грохота.

Фактически это длилось не более десяти, от силы двадцати минут, как раз в начале атаки. Но он не разозлился, что Ивиш приняла его за труса: это будет ему уроком. Она с нерешительным видом смотрела на него, пораженная тем, что можно бояться, будучи русским, Сергиным, ее братом. В конце концов он устыдился и поспешил уточнить:

– Ну, я не все время боялся...

Она с облегчением ему улыбнулась, и он грустно подумал: «Мы больше ни в чем не согласны». Наступило молчание; Борис отпил глоток кофе и чуть не выплюнул: ему как будто влили в рот всю его грусть. Но он подумал, что скоро уедет, и ему полегчало.

– Что ты теперь собираешься делать? – спросила Ивиш.

– Думаю, меня демобилизуют, – сказал Борис. – Действительно, мы почти все вылечились, но нас держат здесь, потому что не знают, что с нами делать.

– А потом?

– Я... попрошу должность преподавателя.

– Разве у тебя есть диплом?

– Нет. Но я имею право быть преподавателем коллежа.

– Тебе будет интересно вести уроки?

⁹ Lapin – кролик, но еще и храбрец, молодец (фр.).

– Какое там! – вырвалось у него. Он покраснел и смиренно добавил: – Я не создан для этого.

– А для чего ты создан, братик?

– Сам не знаю.

Глаза Ивиш блеснули.

– Хочешь, я тебе скажу, для чего мы созданы? Чтобы быть богатыми.

– Это не то, – раздраженно сказал Борис.

Он искоса посмотрел на нее и повторил, сжимая в пальцах чашку:

– Это не то!

– Что же тогда то?

– Со мной было все решено, – сказал он, – но потом у меня украли мою смерть. Я ничего не умею, ни к чему не способен, у меня ни к чему нет вкуса.

Он вздохнул и замолчал, стыдясь говорить о себе самом: я не могу решиться жить посредственно. По существу, что-то подобное она только что сказала.

Ивиш продолжала свою мысль.

– Значит, у Лолы нет денег? – спросила она.

Борис подпрыгнул и ударил по столу: у нее был дар читать его мысли и переводить их в неприемлемые выражения.

– Мне не нужны деньги Лолы!

– Почему? До войны она их тебе давала.

– Что ж, больше не будет давать.

– Тогда давай вместе наложим на себя руки! – пылко сказала она.

Он вздохнул. «Ну вот, теперь она начнет снова, – тоскливо подумал он. – А ведь она уже вышла из этого возраста». Ивиш с улыбкой посмотрела на него.

– Снимем комнату у Старого порта и откроем газ.

Борис просто помахал указательным пальцем правой руки в знак отказа. Ивиш не настаивала; она опустила голову и принялась теревать локоны: Борис понял, что она хочет о чем-то его спросить. Через некоторое время она, не глядя на него, сказала:

– Я подумала...

– Что?

– Я подумала, что ты возьмешь меня с собой, и мы будем жить вдвоем на деньги Лолы.

Борис, чуть не подавившись, проглотил слюну.

– А, – сказал он, – вот что ты подумала.

– Борис, – с внезапным жаром заговорила Ивиш, – я не могу жить с этими людьми.

– Они худо с тобой обращаются?

– Наоборот, они меня окружают чрезмерными заботами: ведь я – жена их сына, понимаешь... Но я их ненавижу, я ненавижу Жоржа, я ненавижу их слуг...

– Ты и Лолу ненавидишь, – заметил Борис.

– Лола – это другое.

– Другое потому, что она далеко, и ты ее не видела два года.

– Лола поет, и потом, она пьет, и потом, она красива... Борис! – крикнула она. – Они безобразны! Если ты оставишь меня в их руках, я покончу с собой, нет, я не покончу с собой, будет еще хуже. Если б ты знал, какой я иногда сама себе кажусь старой и злой!

«Вот те раз!» – подумал Борис. Он выпил немного кофе, чтобы слюна проскользнула в горло; он подумал: «Нельзя причинять страдание сразу двум людям». Ивиш перестала теревать волосы. Ее широкое бледное лицо порозовело, она твердо и тревожно смотрела на него, немного походя на прежнюю Ивиш. «Может быть, она снова помолодеет? Может быть, снова станет красивой?»

Он сказал:

– При условии, что ты нам будешь готовить, страхолюдина.

Она схватила его за руку и изо всех сил сжала:

– Ты согласен?! Борис! Ты согласен?!

Я буду преподавателем в Гере. Нет, не в Гере: это лицей. В Кастельнодари. Я женюсь на Лоле: преподаватель коллежа не может жить с любовницей; с завтрашнего дня я начну готовить свои лекции. Он медленно провел рукой по волосам и осторожно потянул за чуб, чтобы проверить его прочность. «Я буду лысым, – решил он, – теперь это ясно: я полысею до того, как я умру».

– Естественно, я согласен.

Он видел, как ранним утром кружится самолет, и повторял про себя: «Утесы, красивые белые утесы, утесы Дувра».

Три часа в Паду

Матье сидел в траве; он наблюдал за черными клоками дыма над стеной. Время от времени в дыму поднималось огненное сердце и окрашивало его своей кровью: тогда искры прыгали в небо, как блохи.

– Так ведь они и пожар могут устроить, – сказал Шарло. Бабочки сажи летали вокруг них; Пинетт поймал одну и задумчиво растер пальцами.

– Все, что осталось от картины с масштабом в десять тысячных, – сказал он, показывая свой почерневший большой палец.

Лонжен толкнул калитку и вошел в сад; он плакал.

– Лонжен плачет! – удивился Шарло.

Лонжен вытер глаза.

– Сволочи! Я уж думал, что они меня прикончат.

Он рухнул на траву; в руке у него была книга с разорванной обложкой.

– Мне было нужно раздувать огонь кузнечным мехом, а они бросали в огонь свои бумаги.

Весь дым шел мне в морду.

– Закончили?

– Нет. Нас прогнали, потому что будут жечь секретные документы. Тоже мне секрет: приказы, которые я сам и печатал.

– Это плохо пахнет, – сказал Шарло.

– Пахнет жареным.

– Нет, я говорю: раз жгут архивы, это плохо пахнет.

– Ну да, плохо пахнет, пахнет жареным. Я о том и говорю.

Они засмеялись. Матье показал на книгу и спросил:

– Где ты ее нашел?

– Там, – неопределенно сказал Лонжен.

– Где там? В школе?

– Да.

Он с подозрительным видом прижал к себе книгу.

– А другие там есть? – спросил Матье.

– Были и другие, но типы из интендантской службы взяли их себе.

– А это что?

– Книжка по истории.

– Какая?

– Я не знаю названия.

Он бросил взгляд на обложку, потом неохотно добавил:

– История двух Реставраций.

- А кто автор? – спросил Шарло.
- Во-ла-белль, – прочел Лонжен.
- Волабелль, кто это?
- Откуда мне знать?
- Ты мне ее одолжишь? – спросил Матье.
- Когда прочту.

Шарло забрался в траву и взял у него книгу из рук.

- Так это же третий том!

Лонжен вырвал ее.

- Ну и что? Зато можно хоть как-то мысли переключить.

Он наугад открыл книгу и сделал вид, будто читает, чтобы утвердиться в правах владельца. Исполнив эту формальность, он поднял голову.

- Капитан сжег письма своей жены, – сказал он.

Он смотрел на них, подняв брови, с простодушным видом, заранее изображая глазами и губами удивление, которое рассчитывал вызвать. Пинетт очнулся от угрюмой задумчивости и с любопытством повернулся к нему:

- Кроме шуток?
- Да. И ее фотографии он тоже сжег, я их видел в огне. Она премиленькая.
- Неужели?
- Ну я врать не буду.
- Что он говорил?
- Ничего. Он смотрел, как они горят.
- А все остальные?
- Они тоже молчали. Ульрих вынул из бумажника письма и бросил их в огонь.
- Странная затея, – пробормотал Матье.

Пинетт повернулся к нему:

- Ты не будешь жечь фотографии своей милой?
- У меня нет милой.
- А! Вот оно что.
- А ты сжег фотографии жены? – спросил Матье.
- Я жду, когда фрицы будут в поле зрения.

Они замолчали; Лонжен действительно углубился в чтение. Матье бросил на него завистливый взгляд и встал. Шарло положил руку на плечо Пинетта.

- Реванш?
- Если хочешь, давай.
- Во что играете? – спросил Матье.
- В крестики-нолики.
- А втроем можно играть?
- Нет.

Пинетт и Шарло сели верхом на скамейку; сержант Пьерне, который писал что-то на коленях, немного отодвинулся, чтобы освободить им место.

- Ты пишешь мемуары?
- Нет, – сказал Пьерне, – я занимаюсь физикой.

Они начали играть. Ниппер спал, лежа на спине и скрестив руки, с бульканьем слива воздух врывался в открытый рот. Шварц сидел в сторонке и мечтал. Никто не разговаривал, Франция была мертва. Матье зевнул, он посмотрел, как секретные документы дымом исчезают в небе, и его голова опустела: он был мертв; этот белый и тусклый послеполуденный час был могилой.

В сад вошел Люберон. Он жевал, его ресницы трепетали под большими глазами альбиноса, уши двигались одновременно с челюстями.

– Что ты ешь? – спросил Шарло.

– Хлеб.

– Где ты его взял?

Люберон вместо ответа показал куда-то в сторону и продолжал жевать. Шарло внезапно замолчал и с каким-то ужасом посмотрел на него; сержант Пьерне, подняв карандаш и запрокинув голову, тоже смотрел на него. Люберон продолжал не спеша жевать: Матье обратил внимание на его важный вид и понял, что тот принес новости; как и все, Матье испугался и отступил на шаг назад. Люберон мирно закончил есть и вытер руки о штаны. «Это был не хлеб», – подумал Матье. Подошел Шварц, и все молча ждали.

– Ну все, свершилось! – объявил Люберон.

– Что ты мелешь? – грубо спросил Пьерне. – Что свершилось?

– То самое.

– Значит...

– Да.

Стальная молния, потом тишина; вялое сизое мясо этого дня получило знак вечности, это было как удар серпа. Ни звука, ни дуновения ветра, время застыло, война отступила: только что они были в ней, под ее защитой, они могли еще верить в чудеса, в бессмертную Францию, в американскую помощь, в гибкую защиту, во вступление России в войну; теперь война была позади них, закрытая,вершенная, проигранная. Последние надежды Матье превратились в воспоминания о надеждах.

Лонжен опомнился первым. Он вытянул длинные руки, чтобы осторожно как бы пощупать новость. Он робко спросил:

– Значит... оно подписано?

– С сегодняшнего утра.

Девять месяцев Пьерне желал мира. Мира любой ценой. Теперь Пьерне стоял бледный и потный; его удивление перешло в ярость.

– Откуда ты знаешь? – крикнул он.

– Мне только что сказал Гвиччоли.

– А он откуда знает?

– По радио слышал. Только что передавали.

Он говорил голосом диктора, терпеливым и нейтральным; ему нравилось изображать из себя всеведущего.

– А как же артиллерия?

– Прекращение огня назначено на полночь.

Шарло тоже покраснел, но глаза его сверкали:

– Вот это да!

Пьерне встал. Он спросил:

– Есть подробности?

– Нет, – сказал Люберон.

Шарло кашлянул:

– А мы?

– Что мы?

– Когда мы вернемся по домам?

– Говорю же тебе, что подробностей нет.

Они помолчали. Пинетт пнул булыжник, и тот покатился в морковку.

– Перемирие! – сказал он злобно. – Перемирие!

Пьерне покачал головой; на его пепельном лице левое веко стало дергаться, как ставень в ветреный день.

– Условия будут жесткими, – сказал он, удовлетворенно ухмыляясь.

Начали ухмыляться и все остальные.

– Еще бы! – сказал Лонжен. – Еще бы!

Шварц тоже ухмыльнулся; Шарло повернулся и удивленно посмотрел на него. Шварц перестал смеяться и сильно покраснел. Шарло продолжал смотреть на него так, как будто видел его в первый раз.

– Ты теперь фриц... – тихо сказал он.

Шварц энергично и неопределенно махнул рукой, повернулся и вышел из сада; Матье почувствовал себя совсем разбитым от усталости. Он рухнул на скамейку.

– Ну и жара, – сказал он.

На нас смотрят. Все более и более плотная толпа смотрела, как они глотают эту историческую пилюлю, толпа на глазах старела и пятилась назад, шепча: «Побежденные сорокового года, солдаты-пораженцы, из-за них мы оказались в цепях». Они оставались здесь, неизменные под этими изменчивыми взглядами, судимые, точно измеренные, объясненные, обвиненные, прощенные, приговоренные, заточенные в этом неизгладимом полудне, погребенные в жужжании мух и пушек, в запахе нагретой зелени, в воздухе, дрожащем над морковью, бесконечно виновные в глазах своих сыновей, внуков и правнуков, побежденные сорокового года навсегда. Он зевнул, и миллионы людей увидели, как он зевает: «Он зевает, ну и дела! Победенный сорокового года имеет наглость зевать!» Матье резко погасил этот неудержимый зев, он подумал: «Мы не одни».

Он посмотрел на своих товарищей, его взгляд столкнулся с вечным и цепенящим взглядом истории: в первый раз величие спустилось им на головы: они были знаменитыми солдатами проигранной войны. Живые истуканы! «Боже мой, я читал, зевал, размахивал погремушкой своих проблем, не решался выбрать, а на самом деле я уже выбрал, выбрал эту войну, это поражение, и в сердце ждал этого дня. Все нужно начинать заново, делать больше нечего»: две мысли вошли одна в другую и взаимоуничтожились; осталась лишь спокойная поверхность Небытия.

Шарло тряхнул плечами и головой; он засмеялся, и время снова потекло. Шарло смеялся, он смеялся вопреки Истории, он защищался смехом от окаменения; он лукаво смотрел на них и говорил:

– Хорошо же мы выглядим, ребята. Что-что, а выглядим мы хорошо.

Они озадаченно повернулись к нему, и потом Люберон решил засмеяться. Он морщил нос, еле сдерживаясь, и смех выходил у него через ноздри:

– Что да, то да! Как они с нами разделились!

– Вздуди что надо! – в каком-то опьянении воскликнул Шарло. – Всыпали по первое число!

В свою очередь, засмеялся Лонжен:

– Солдаты сорокового, или короли спринта!

– Победители!

– Олимпийские чемпионы по ходьбе!

– Не волнуйтесь, – сказал Люберон, – нас хорошо примут, когда вернемся, организуют нам торжественную встречу!

Лонжен издал счастливый хрип:

– Нас придут встречать на вокзал! С хоровой капеллой и гимнастическими группами.

– А каково мне, еврею! – смеясь до слез, сказал Шарло. – Представляете себе антисемитов из моего квартала!

Матье заразился этим неприятным смехом, ему показалось, что его, дрожащего от лихорадки, бросили на ледяные простыни; потом его вечное и прочное естество разбилось, разлетелось на осколки смеха. Смеясь, они отказывались от перспективы величия, отказывались во имя озорства; не следует слишком волноваться, раз есть здоровье, питье и еда, а раз так, можно пренебречь одной половиной мира и насрать на другую, из суровой ясности они отказывались от утешений величия, они отказывали себе вправе играть трагические, нет, исторические, нет: всего лишь комические роли, мы не стоим и слезинки; все предопределено: даже этого нет, в мире все случайно. Они смеялись, натываясь на стены Абсурда и Судьбы, которые их отшвыривали; они смеялись, чтобы наказать себя, очиститься, отомстить за себя, бесчеловечные, слишком человеческие, по ту и другую сторону отчаяния: просто люди. Еще на мгновение они невольно бросили упрек лазури за свои неудачи: Ниппер по-прежнему храпел с открытым ртом, и храп его тоже был жалобой. Но вскоре их смех отяжелел, загустел, остановился после нескольких финальных взрывов: церемония закончена, перемирие признано; их после санкционировано. Время текло медленно, отвар, остуженный солнцем: нужно было снова начинать жить.

– Вот так! – сказал Шарло.

– М-да, – хмыкнул Матье.

Люберон украдкой вытащил руку из кармана, приложил ее к губам и зажевал; его челюсти прыгали под кроличьими глазами.

– Вот так, – сказал он. – Вот так.

Пьерне принял победный и хвастливый вид:

– Что я вам говорил?

– А что ты нам говорил?

– Не стройте из себя идиотов. Деларю, ты помнишь, что я тебе говорил после нападения на Финляндию? И после Нарвика, помнишь? Ты считал, что я каркаю, а так как ты половчее меня, то меня всегда сбивал с толку.

Он порозовел, за стеклами очков его глаза сверкали от обиды и гордости.

– Не нужно было ввязываться в эту войну. Я всегда говорил, что не нужно в нее ввязываться: тогда бы мы не докатились до такого.

– Было бы еще хуже, – сказал Пинетт.

– Хуже быть не могло: нет ничего хуже войны.

Он вкрадчиво потирал руки, лицо его излучало невинность; он потирал руки, он умывал руки, отрекаясь от этой войны, он в ней не участвовал, он даже ее не прожил; он дулся десять месяцев, отказываясь видеть, говорить, чувствовать, протестуя против приказов тем, что выполнял их с маниакальным рвением, рассеянный, нервный, напыщенный, бездушный. Теперь он был сполна вознагражден за все. У него были чистые руки, и его предсказания сбылись: побежденными были другие, Пинетты, Любероны, Деларю и прочие. Но не он. Губы Пинетта дрожали.

– Так что? – прерывающимся голосом сказал он. – Все хорошо? Ты доволен?

– Кто, я?

– Ну что, получил свое поражение?

– *Мое* поражение? Скажешь тоже, оно такое же твое, как и мое.

– Ты надеялся на него: оно твое. Мы же на него не надеялись и не хотим тебя его лишать.

Пьерне улыбнулся улыбкой непонятого человека.

– Кто тебе сказал, что я на него надеялся? – терпеливо спросил он.

– Ты сам и сказал – только что.

– Я сказал, что я его предвидел. Предвидеть и надеяться – две разные вещи, разве не так?

Пинетт, не отвечая, смотрел на него, все его лицо осело, губы вытянулись трубочкой; он вращал большими красивыми зачарованными глазами. Пьерне продолжал защищаться:

– А зачем мне на него надеяться? Докажи! Может, я из пятой колонны?

– Ты пацифист, – выдавил из себя Пинетт.

– Ну и что?

– Это одно и то же.

Пьерне пожал плечами и изнеможенно развел руками. Шарло подбежал к Пинетту и обнял его за шею.

– Не ссорьтесь, – благодушно сказал он. – К чему спорить? Мы проиграли, это не наша вина, никто не должен ни в чем себя упрекать. Это общее несчастье, вот и все.

У Лонжена появилась улыбка дипломата:

– Разве это несчастье?

– Да! – примирительно сказал Шарло. – Нужно быть справедливым: это несчастье. Большое несчастье. Но как ни верти, я говорю себе: каждому свой черед. Последний раз выиграли мы, на сей раз они, в следующий раз снова будем мы.

– Следующего раза не будет, – сказал Лонжен.

Он поднял палец и с саркастическим видом добавил:

– Мы воевали последнюю из последних войн, вот истина. Победителям или побежденным, ребятам сорокового года удалось то, что не удалось их папашам. Покончено с нациями. Покончено с войнами. Сегодня на коленях мы; завтра будут англичане, немцы захватят все, везде установят свой порядок – и вперед к Соединенным Штатам Европы.

– Соединенные Штаты Моей Задницы, – сказал Пинетт. – Все станут холуями Гитлера.

– Гитлера? А что такое Гитлер? – высокомерно спросил Лонжен. – Естественно, он был нужен. Как придут к согласию страны, если их оставить свободными? Они ведь как люди – каждый тянет в свою сторону. Но кто будет говорить о твоём Гитлере через сто лет? К тому времени он сдохнет, а с ним и нацизм.

– Мать твою! – крикнул Пинетт. – А кто их проживет, эти сто лет?!

Лонжен был явно возмущен:

– Нельзя так думать, дуралей, – нужно смотреть немного дальше кончика своего носа: следует думать и о послезавтрашней Европе.

– А эта послезавтрашняя Европа даст мне пожрать?

Лонжен умиротворяюще поднял руку и помахал ею на солнце.

– Хватит! – сказал он. – Хватит! Ловкачи выпутаются всегда.

Пастырская рука опустилась и погладила вьющиеся волосы Шарло:

– Ты думаешь иначе?

– Я, – сказал Шарло, – думаю, что раз уж пришли к перемирию, надо подписать его побыстрее: меньше убитых, да и фрицы не успеют остервенеть.

Матье смотрел на него с недоумением. Все! Все мгновенно переменились: Шварц стал другим, Ниппер уцепился за дрему, Пинетт спасался яростью, Пьерне – невинностью, Люберон под сурдинку жрал, затыкал все свои дырки жратвой; Лонжен ушел в иные времена. Каждый из них поспешно выработал себе позицию, которая позволяла ему жить. Матье резко встал и громко сказал:

– Вы мне отвратительны!

Они посмотрели на него без удивления, жалко улыбаясь: он был удивлен больше, чем они; фраза еще звучала в воздухе, а он дивился, как он мог ее произнести. Мгновение он колебался между смущением и гневом, затем выбрал гнев: он повернулся к ним спиной, толкнул калитку и перешел через дорогу. Она была ослепительной и пустой; Матье прыгнул в ежевику, которая вцепилась ему в обмотки, и спустился по склону перелеска до ручья. «Дерьмо!» – сказал он громко. Он посмотрел на ручей и повторил: «Дерьмо! Дерьмо!», сам не зная почему. В ста метрах от него, в полосках солнца, голый по пояс, солдат стирал свое белье, он там, он посвистывает, он месит эту влажную муку, он проиграл войну, и он этого не знает. Матье сел;

ему было стыдно: «Кто дал мне право быть таким суровым? Они только что узнали, что разбиты, они выпутываются как могут, потому что для них это внове. У меня же есть навык, но от этого я не стою больше. И помимо всего, я тоже выбрал бегство. И злость». Он услышал легкий хруст – Пинетт сел у края воды. Он улыбнулся Матье, Матье улыбнулся ему, и они долго молчали.

– Посмотри на того парня, – сказал Пинетт. – Он еще ничего не знает.

Солдат, согнувшись над водой, с прилежным упорством стирал белье; реликтовый самолет урчал над ними. Солдат поднял голову и сквозь листву посмотрел на небо с рассмешившей их боязнью: эта маленькая сцена имела живописность исторического свидетельства.

– Скажем ему?

– Нет, – сказал Матье, – пусть не знает и дальше.

Они замолчали. Матье погрузил руку в воду и пошевелил пальцами. Его рука была бледной и серебристой, с голубым ореолом неба вокруг. На поверхность поднялись пузырьки. Травинка, принесенная соседним водоворотом, кружась, приклеилась к его запястью, подпрыгнула, снова приникла. Матье вынул руку.

– Жарко, – сказал он.

– Да, – согласился Пинетт. – Все время тянет спать.

– Ты хочешь спать?

– Нет, но постараюсь.

Он лег на спину, заложил руки за голову и закрыл глаза. Матье погрузил сухую ветку в ручей и пошевелил ею. Через некоторое время Пинетт открыл глаза.

– Черт!

Он встал и обеими руками начал ерошить волосы.

– Не могу уснуть.

– Почему?

– Я злюсь.

– В этом нет ничего дурного, – успокоил его Матье. – Это естественно.

– Когда я злюсь, – сказал Пинетт, – мне нужно подраться, иначе я задыхаюсь.

Он с любопытством посмотрел на Матье:

– А ты не злишься?

– Конечно, злюсь.

Пинетт склонился над башмаками и стал их расшнуровывать.

– Я даже ни разу не выстрелил из винтовки, – с горечью произнес он.

Он снял носки, у него были по-детски маленькие нежные ступни, пересеченные полосками грязи.

– Приму-ка я ножную ванну.

Он смочил правую ступню, взял ее в руку и начал тереть. Грязь сходила шариками. Вдруг он снизу посмотрел на Матье.

– Они нас найдут, да?

Матье кивнул.

– И уведут к себе?

– Скорее всего.

Пинетт яростно растирал ногу.

– Без этого перемирия меня так легко не одолели бы.

– Что бы ты сделал?

– Я бы им показал!

– Какой бычок! – усмехнулся Матье.

Они улыбнулись друг другу, но Пинетт вдруг помрачнел, и в его глазах мелькнуло недоверие.

– Ты сказал, что мы тебе отвратительны.

– Я не имел в виду тебя.

– Ты имел в виду всех.

Матье все еще улыбался.

– Ты со мной собираешься драться?

Пинетт, не отвечая, наклонил голову.

– Бей, – предложил Матье. – Я тоже ударю. Может, это нас успокоит.

– Я не хочу причинять тебе боль, – раздраженно возразил Пинетт.

– Как хочешь.

Левая ступня Пинетта блестела от воды и солнца. Они оба на нее посмотрели, и Пинетт зашевелил пальцами ноги.

– У тебя забавные ступни, – сказал Матье.

– Совсем маленькие, да? Я могу взять коробок спичек и открыть его.

– Пальцами ног?

– Да.

Он улыбался; но приступ бешенства вдруг сотряс его, и он грубо вцепился в лодыжку.

– Я так и не убью ни одного фрица! Скоро они припрутся, и им останется только меня задержать!

– Что ж, это так, – сказал Матье.

– Но это несправедливо!

– Это ни несправедливо, ни справедливо – это просто факт.

– Это несправедливо: мы расплачиваемся за других, за парней из армии Кора и за Гамелена.

– Будь мы в армии Кора, мы поступили бы так же, как они.

– Говори за себя!

Он расставил руки, шумно вдохнул, сжал кулаки, и надувая грудь, высокомерно посмотрел на Матье:

– Разве у меня такая рожа, чтобы удирать от врага?

Матье ему улыбнулся:

– Нет.

Пинетт напряг продолговатые бицепсы светлых рук и некоторое время наслаждался своей молодостью, силой, храбростью. Он улыбался, но глаза его оставались беспокойными, а брови нахмуренными.

– Я бы погиб в бою.

– Так всегда говорят.

Пинетт улыбнулся и умер: пуля пронзила ему сердце. Мертвый и торжествующий, он повернулся к Матье. Статуя Пинетта, погибшего за родину, повторила:

– Я бы погиб в бою.

Вскоре энергия и гнев снова разогрели это окаменевшее тело.

– Я не виноват! Я сделал все, что мне предписали. Не моя вина, что меня не смогли толком использовать.

Матье смотрел на него с какой-то нежностью; Пинетт был прозрачным на солнце, жизнь поднималась, опускалась, вращалась так быстро в голубом дереве его вен, он, должно быть, чувствовал себя таким худым, таким здоровым, таким легким: как он мог подумать о безболезненной болезни, которая уже начала его глотать, которая согнет его свежее молодое тело над силезскими картофельными полями или на автодорогах Померании, которая заполнит его усталостью, грустью и тяжестью. Поражению учатся.

– Я ничего ни у кого не просил, – продолжал Пинетт. – Я спокойно делал свою работу; я не был против фрицев, я их в глаза не видывал; нацизм, фашизм – я даже не знал, что это

такое; а когда я в первый раз увидел на карте этот самый Данциг, я был уже мобилизован. Ладно, наверху есть Даладье, который объявляет войну, и Гамелен, который ее проигрывает. А что там делаю я? В чем моя вина? Может, ты думаешь, они со мной посоветовались?

Матье пожал плечами:

– Уже пятнадцать лет все видели, что война приближается. Нужно было вовремя умело взяться, чтобы избежать ее или выиграть.

– Я не депутат.

– Но ты голосовал.

– Конечно, – неуверенно ответил Пинетт.

– За кого?

Пинетт промолчал.

– Вот видишь, – сказал Матье.

– Мне нужно было пройти военную службу, – раздраженно оправдывался Пинетт. – А потом я заболел: я мог проголосовать только один раз.

– А в тот раз ты это сделал?

Пинетт не ответил. Матье улыбнулся.

– Я тоже не голосовал, – тихо сказал он.

Выше по течению солдат выжимал рубашки. Он их завернул в красное полотенце и, пошвыстывая, поднялся на дорогу.

– Узнаешь, какую песенку он насвистывает?

– Нет, – ответил Матье.

– «Мы будем сушить белье на линии Зигфрида».

Оба засмеялись. Пинетт, казалось, немного успокоился.

– Я добросовестно работал, – сказал он. – И не всегда досыта ел. Потом я нашел это место на транспорте и женился: жену-то мне нужно кормить, а? Знаешь, она из хорошей семьи. Хотя сначала между нами не все ладилось... Потом, – живо добавил он, – все утряслось; я вот к чему клоню: нельзя же заниматься всем одновременно.

– Конечно, нет! – согласился Матье.

– Как я мог поступить иначе?

– Никак.

– У меня не было времени заниматься политикой. Я возвращался домой усталый как собака, потом шли ссоры; к тому же, если ты женат, надо ублажать жену каждый вечер, разве нет?

– Наверное, да.

– Так что ж?

– А ничего. Вот так и проигрывают войну.

Пинеттом овладел новый приступ злобы.

– Не смей меня! Даже если бы я занимался политикой, даже если бы я только это и делал, что бы изменилось?

– По крайней мере ты бы сделал все возможное.

– А ты сделал?

– Нет.

– А если бы и сделал, ты сказал бы, что это не ты проиграл войну?

– Нет.

– Так как же?

Матье не ответил, он услышал дрожащее пение комара и помахал рукой на уровне лба. Пение прекратилось. «В самом начале я тоже думал, что эта война – болезнь. Какая глупость! Это я, это Пинетт, это Лонжен. Для каждого из нас это он сам; она сделана по нашему образу и подобию, и у нас та война, которую мы заслужили». Пинетт длинно шмыгнул носом, не

спуская взгляда с Матье; Матье подумал, что у него глупый вид, но разъярился против себя. «Довольно! Довольно! Мне надоело слыть человеком, который ясно все понимает!» Комар танцевал вокруг его лба – смехотворный венец славы. «Если бы я воевал, если бы я нажал на гашетку, где-то упал бы человек...» Он дернул рукой и залепил себе хороший шлепок по виску; он опустил руку и увидел на указательном пальце крошечное кровавое кружевце, человек, у которого кровью истекает жизнь на булыжники, шлепок по виску, указательный палец нажимает на курок, разноцветные стекла калейдоскопа резко останавливаются, кровь испещряет траву на тропинке, мне надоело! Мне надоело! Углубиться в неизвестное действие, как в лес. Действие. Действие, которое возлагает ответственность и которое никогда полностью не понимаешь. Он страстно проговорил:

– Если бы что-то нужно было сделать...

Пинетт с интересом посмотрел на него:

– Что?

Матье пожал плечами.

– Нет, ничего, – ответил он. – В данный момент – ничего.

Пинетт надевал носки; его белесые брови хмурились. Он вдруг спросил:

– Я тебе показывал свою жену?

– Нет, – сказал Матье.

Пинетт встал, порылся в кармане кителя и вынул из бумажника фото. Матье увидел довольно красивую женщину с суровым выражением лица и намечающимися усиками. Поперек фотографии она написала: «Дениза – своей куколке, 12 января 1939 года». Пинетт покраснел:

– Она меня так называет. Не могу ее от этого отучить.

– Но хоть как-то она должна тебя называть.

– Это потому, что она старше меня на пять лет, – с достоинством пояснил Пинетт.

Матье вернул ему фотографию.

– Она хороша.

– В постели она потрясающая, – сказал Пинетт. – Ты даже не можешь себе представить.

Он еще больше покраснел. Потом смущенно добавил:

– Она из хорошей семьи.

– Ты мне это уже говорил.

– Да? – удивился Пинетт. – Я тебе это уже говорил? Я тебе говорил, что ее отец был преподавателем рисования?

– Да.

Пинетт старательно положил фото в бумажник.

– Меня это огорчает.

– Что тебя огорчает?

– Ей будет неприятно такое мое возвращение.

Он скрестил руки на коленях.

– Хватит тебе! – сказал Матье.

– Ее отец – герой войны четырнадцатого года, – продолжал Пинетт. – Три благодарности в приказе, награжден крестом. Он об этом все время говорит.

– Ну и что?

– А то, что ей будет неприятно такое мое возвращение.

– Бедный дурачок, – сказал Матье. – Ты вернешься еще не скоро.

Гнев Пинетта выветрился. Он грустно покачал головой.

– Лучше уж так. Я не хочу возвращаться.

– Бедный дурачок, – повторил Матье.

– Она меня любит, – говорил Пинетт, – но у нее трудный характер: она много о себе воображает. Да еще ее мамаша королеву из себя корчит. Жена должна тебя уважать, верно? Иначе она устроит из дома ад.

Он вдруг встал:

– Мне надоело здесь. Ты идешь?

– Куда это?

– Не знаю. К остальным.

– Пойдем, если хочешь, – неохотно согласился Матье.

Он, в свою очередь, встал, они поднялись к дороге.

– Смотри-ка, – сказал Пинетт, – вот Гвиччоли.

Гвиччоли, расставив ноги, приставив руку козырьком ко лбу и смеясь, смотрел на них.

– Вот это шутка! – сказал он.

– Что?

– Вот это шутка! Попались, как дураки.

– Ты о чем это?

– О перемирии, – все еще смеясь, сказал Гвиччоли.

Пинетт засветился:

– Это была шутка?

– Маленькая такая! – сказал Гвиччоли. – Люберон притащился к нам надоедать; он хотел новостей, ну мы ему их и дали.

– Значит, – оживился Пинетт, – никакого перемирия нет?

– Перемирия нет и в помине.

Матье краем глаза посмотрел на Пинетта:

– Что это меняет?

– Это меняет все, – сказал Пинетт. – Вот увидишь! Вот увидишь – это меняет все.

Четыре часа

Никого на бульваре Сен-Жермен; никого на улице Дантона. Железные шторы даже не опущены, витрины сверкают: просто хозяева, уходя, сняли щеколду с дверей. Было воскресенье. Уже три дня было воскресенье: на всю неделю в Париже был только один день. Совершенное воскресенье, какое-то немного более напряженное, чем обычно, немного более искусственное, слишком молчаливое, уже полное тайного застоя. Даниель подходил к большому магазину шерстяных изделий и тканей; разноцветные клубки, расположенные пирамидой, начали желтеть, они пахли чем-то старым; в соседней лавке выцветали пеленки и блузки; мучнистая пыль скапливалась на полках. Длинные белые дорожки бороздили стекла. Даниель подумал: «Стекла плачут». За стеклами царил праздник: жужжали мириады мух. Воскресенье. Когда парижане вернутся, они найдут гнилое, упавшее на их мертвый город воскресенье. Если только они вернутся! Даниель дал волю страстному желанию хохотать, желанию, с которым он с утра прогуливался по улицам. Если только они вернутся!

Маленькая площадь Сент-Андре-дез-Ар лениво предавалась солнцу: среди ясного света была темная ночь. Солнце – это искусственность, вспышка магния, которая прячет ночь, оно должно погаснуть через двадцатую долю секунды, но почему-то не гаснет. Даниель прижал лоб к большой витрине Эльзасской пивной, я здесь завтракал с Матье: это было в феврале, во время его отпуска, здесь все кишело героями и ангелами. Он в конце концов различил в полумраке колеблющиеся пятна: это были бумажные скатерти на подвальных столиках-грибах. Где герои? Где ангелы? Два железных стула остались на террасе; Даниель взял один за спинку, отнес на край тротуара и сел, как рантье, под военным небом, в этой белой жаре, которая была пронизана воспоминаниями детства. Он чувствовал, как в спину магнетически давит тишина,

он смотрел на пустынный мост, на запертые на висячий замок ящики набережных, на башенные часы без стрелки. «Они должны были бы ударить по всему этому, – подумал он. – Всего несколько бомб, чтобы нагнать на нас страху». Чей-то силуэт проскользнул вдоль префектуры полиции по другую сторону Сены, словно несомый движущимся тротуаром. Строго говоря, Париж не был пуст: он был населен маленькими минутами-поражениями, которые брызгами разлетались во всех направлениях и тотчас же поглощались под этим светом вечности. «Город полый», – подумал Даниель. Он чувствовал под ногами галереи метро, за собой, перед собой, над собой – дырявые скалы: между небом и землей тысячи гостиных в стиле Луи-Филипп, столовые в стиле ампира, угловые диваны скрипели в запустении, можно было помереть со смеху. Он резко обернулся: кто-то стукнул по витрине. Даниель долго смотрел на большую витрину, но увидел только свое отражение. Он встал со сжавшимся от странной тревоги горлом, но не слишком недовольный: забавно испытывать ночные страхи среди бела дня. Он подошел к фонтану Сен-Мишель и посмотрел на позеленевшего дракона. Он подумал: «Все дозволено». Он мог спустить брюки под стеклянным взглядом всех этих черных окон, вырвать камень из мостовой и бросить его в витрину пивной, он мог крикнуть: «Да здравствует Германия!», и ничего не произойдет. Самое большее на седьмом этаже какого-нибудь здания к окну прильнет испуганное лицо, но это останется без последствий, у них не осталось сил возмущаться: приличный человек наверху повернется к жене и равнодушно скажет: «На площади какой-то тип снял штаны», а она из глубины комнаты ему ответит: «Не стой у окна, мало ли что может произойти». Даниель зевнул. Может, разбить витрину? Лучше будет видно, когда начнется грабеж. «Надеюсь, – подумал он, – они все предадут огню и зальют кровью». Даниель еще раз зевнул: он чувствовал в себе беспредельную и тщетную свободу. Мгновениями радость обжигала ему сердце.

Когда он удалялся, с улицы де ла Юшетт вывернула целая процессия. «Теперь они перемещаются обозами». С утра это уже десятый. Даниель насчитал девять человек: две старухи несли плетеные корзинки, две девочки, трое усачей, суровых и жилистых; за ними шли две молодые женщины, одна красивая и бледная, другая восхитительно беременная, с полуулыбкой на губах. Они шли медленно, никто не разговаривал. Даниель кашлянул, и они обернулись к нему все разом: в их глазах не было ни симпатии, ни осуждения, одно лишь недоверчивое удивление. Одна из девочек наклонилась к другой, не переставая смотреть на Даниеля, она прошептала несколько слов, и обе восхищенно засмеялись; Даниель чувствовал себя кем-то необычным, серной, остановившей на альпинистах медленный девственный взгляд. Они же, отжившие, призраками прошли и стинули в пустоте. Даниель пересек мостовую и облокотился на каменный парапет у входа на мост Сен-Мишель. Сена сверкала; очень далеко на северо-западе над домами поднимался дым. Внезапно зрелище показалось ему невыносимым, он развернулся, двинулся назад и стал подниматься по бульвару.

Процессия исчезла. Молчание и пустота насколько хватает глаз: горизонтальная бездна. Даниель устал, улицы шли в никуда; без людей все они были похожи друг на друга. Бульвар Сен-Мишель, вчера еще длинная золотая лава, казалсядохлым китом брюхом кверху. Даниель чеканил шаги по этому толстому, полному и вздутному животу; он принудил себя вздрогнуть от наслаждения и громко сказал: «Я всегда ненавидел Париж». Напрасно: вокруг ничего живого, кроме зелени, кроме больших зеленых лап каштанов; у него было пресное и слащавое ощущение, что он идет по подлеску. Его уже коснулось гнусное крыло скуки, когда он, к счастью, увидел бело-красный плакат, приклеенный к забору. Он подошел и прочел: «Мы победим, потому что мы сильнее всех!» – развел руками и улыбнулся с наслаждением и облегчением: они бегут, они бегут, они продолжают бежать. Он поднял голову и обратил улыбку к небу, он дышал полной грудью: процесс, длившийся уже двадцать лет, шпионы, затаившиеся всюду, чуть ли не под его кроватью; каждый прохожий был свидетелем обвинения, судьей или тем и другим одновременно; все, что он говорил, могло быть обращено против него. И вдруг – это беспоря-

дочное бегство. Они бегут, свидетели, судьи, так называемые порядочные люди, они бегут под солнцем, и лазурь грозит им самолетами. Стены Парижа еще кричали о гордости и заслугах: мы самые сильные, самые добродетельные, столпы демократии, защитники Польши, человеческого достоинства и гетеросексуальности, железный путь будет прегражден¹⁰, мы будем сушить белье на линии Зигфрида. На стенах Парижа плакаты еще трезвонили о выдохшейся славе. Но они, они бегут, обезумев от страха, они распластываются в траншеях. Они будут молить о пощаде, о прощении. Но при этом они будут уверены, что честь останется при них, еще бы, все потеряно, кроме чести, вот мой зад, можете дать мне пинка, но честь неприкосновенна, хотя ради сохранения собственной жизни я буду лизать вам сапоги. Они бегут, они уползают. А я, воплощение порока, царю над их городом.

Он шел, опустив глаза, он ликовал, он слышал, как совсем рядом с ним по мостовой скользили машины, он думал: «Марсель сейчас подтирает своего ребенка в Даксе, Матье, должно быть, в плену. Брюне, вероятно, погиб, все мои свидетели мертвы или рассеяны; я торжествую...» Вдруг у него мелькнуло: «Откуда машины?» Он резко поднял голову, сердце его гулко забилося, и он увидел их. Они стояли, чистые и важные, по пятнадцать или по двадцать солдат на длинных грузовиках с маскировкой, которые медленно катились к Сене, они проезжали, прямые, стоя, они скользнули по нему невыразительным взглядом, а за ними ехали другие, другие ангелы, совсем одинаковые и одинаково на него смотревшие. Даниель услышал издали военную музыку, ему показалось, что все небо заполняется военными флагами, и он вынужден был опереться на ствол каштана. Один на этом длинном проспекте, один француз, один гражданский, а на него взирает вся вражеская армия. Он не боялся, он доверчиво отдавался этим тысячам глаз, он думал: «Наши победители!», и его обуяло наслаждение. Он стойко ответил на их взгляд, он навек усладился этими светлыми волосами, этими загорелыми лицами с глазами, подобными ледниковым озерам, этими узкими талиями, этими невероятно длинными и мускулистыми бедрами. Он прошептал: «Как они красивы!» Он уже не касался земли, они подхватили и подняли его, они прижимали его к груди и к плоским животам. С высоты что-то покатилося кубарем: это был древний закон. Рухнуло общество судей, стерт приговор; беспорядочно бегут жалкие солдаты в хаки, защитники прав человека и гражданина. «Какая свобода!» – подумал он, и его глаза увлажнились. Он был единственным уцелевшим после краха. Единственный человек перед этими ангелами ненависти и гнева, этими смертоносными ангелами, взгляд которых возвращал ему детство. «Вот новые судьи, – подумал он, – вот новый закон!» Какими ничтожными казались над их головой чудеса мягкого неба, невинность маленьких кучевых облаков: это была победа презрения, насилия, злонамеренности, это была победа Земли. Прошел танк, величественный и медленный, покрытый листвой, он едва урчал. Сзади на нем сидел совсем молодой парень; набросив китель на плечи, закатав до локтя рукава гимнастерки, он скрестил на груди красивые голые руки. Даниель ему улыбнулся, парень с суровым видом долго смотрел на него, потом вдруг, когда танк уже удалялся, тоже начал улыбаться. Он быстро порывлся в кармане брюк и бросил какой-то маленький предмет, который Даниель поймал на лету: это была пачка английских сигарет. Даниель так сильно стиснул пачку, что почувствовал, как сигареты крошатся под его пальцами. Он все улыбался. Невыносимое и сладостное волнение поднялось от бедер и застучало в висках; взгляд его затуманился, он, немного задышавшись, повторял: «Как нож в масло, они входят в Париж, как нож в масло». Перед его затуманенным взглядом прошли другие, новые лица, потом еще и еще, все такие же красивые; они нам причинят Зло, начинается царство Зла, царство наслаждения! Ему хотелось быть женщиной, чтобы бросать им цветы!

¹⁰ Имеется в виду высказывание президента Совета Поля Рейно в апреле 1940 года, когда он обещал не допустить немцев до рудников Норвегии; вскоре немцы заняли всю Норвегию. – *Примеч. ред.*

Крикливый взлет чаек, мать твою, дёру, дёру, улица опустела, шум кастрюль заполнил ее до краев, стальная молния избороздила небо, они проходят между домами, Шарло, прильнув к Матье, крикнул ему в темноте риги: они летят на бреющем полете. Жадные и апатичные чайки слегка покружили над деревней, ища добычу, потом улетели, волоча за собой свою кастрюлю, которая прыгала с крыши на крышу, затем осторожно выглянули лица, люди выходили из риги, из домов, иные прыгали в окна, все кишело, точно на ярмарке. Тишина. Они все были здесь в тишине, почти сто человек, инженерные части, радисты, разведчики, телефонисты, секретари, наблюдатели, все, кроме шоферов, которые со вчерашнего дня ждали за баранками своих машин; они сели – для какого спектакля? – посреди дороги, поджав ноги, так как дорога была мертва и машины больше не проходили по ней, одни сели на обочине, на подоконники, а другие стояли, прислонившись к стенам домов. Матье сидел на скамеечке у бакалейного магазина; Шарло и Пьерне присоединились к нему. Все молчали, они собрались, чтобы быть вместе и смотреть друг на друга; они видели друг друга такими, какими были: большая ярмарка, слишком спокойная толпа с сотней побледневших лиц; улица обугливалась от солнца, корчилась под развороченным небом, жгла пятки и ягодицы; люди отдались на волю солнца; генерал остановился у врача: третье окно второго этажа было его глазом, но они плевали на генерала, они смотрели друг на друга и внушали друг другу страх. Они страдали от сдерживаемого порыва куда-то двигаться, никто об этом не говорил, но ожидание гулками ударами стучало им в грудь, его ощущали в руках, в бедрах, оно было болезненным, как ломота, это был волчок, который крутился в сердцах. Кто-то из них вздохнул, точно собака, которой снится сон; он сказал во сне: «В интендантстве есть мясные консервы». Матье подумал: «Да, но их приказано охранять жандармам», а Гвиччоли ответил вслух: «Эх ты, дурень, там поставили жандармов охранять дверь». Другой мечтательно и сонно проговорил: «Вон булочная, там есть хлеб, я видел буханки, но хозяин забаррикадировал свою лавку». Матье продолжил сон, но молча: он представил себе турнедо, и его рот наполнился слюной; Гримо немного приподнялся, показал на ряды закрытых ставней и сказал: «Что у них случилось в этом захолустье? Вчера они с нами разговаривали, теперь прячутся». Накануне дома зевали, как устрицы, теперь они захлопнулись; внутри мужчины и женщины притворялись мертвыми, потели в темноте и ненавидели их; Ниппер сказал: «Если нас победили, это не значит, что мы чумные». В желудке у Шарло заурчало, Матье сказал: «У тебя желудок урчит». И Шарло ответил: «Он не урчит, он вопит». Резиновый мячик влетел в их круг, Латекс поймал его на лету, затем появилась маленькая девочка лет пяти-шести и робко посмотрела на него. «Это твой мячик? – спросил Латекс. – На, возьми его». Все смотрели на нее, Матье захотелось посадить ее на колени; Латекс постарался смягчить свой голос: «Ну, иди сюда! Иди ко мне на колени». Отовсюду слышался шепот: «Иди! Иди! Иди!» Малышка не шевелилась. «Иди, мой цыпленок, иди, иди, моя курочка, иди!» «Ну и ну! – сказал Латекс. – Мы уже детей пугаем». Мужчины засмеялись и сказали ему: «Это ты ее пугаешь своей рожей!» Матье смеялся, Латекс повторил нараспев: «Иди, моя конфетка!» Вдруг, охваченный бешенством, он крикнул: «Если не подойдешь, я мячик не отдам!» Он поднял мяч над головой, показывая ей, и сделал вид, что кладет его в карман, девочка заголосила, все встали, все начали кричать: «Отдай его! Подлец, ты заставляешь ребенка плакать, нет, нет, положи в карман, забрось его на крышу!» Матье, стоя, размахивал руками, Гвиччоли с глазами, блестящими от бешенства, отстранил его и стал перед Латексом: «Отдай ей его, сукин сын, мы не дикари!» Матье в ярости топнул ногой; Латекс успокоился первым, он опустил глаза и сказал: «Не сердитесь! Я отдам его». Он неловко бросил мяч, тот ударился о стену, отскочил, девочка схватила его и убежала. Спокойствие. Все снова сели, Матье уселся, грустный и успокоенный; он думал: «Мы не чумные». Ничего другого в голове: ничего другого, кроме чужих мыслей. Временами он был только тоскливой пустотой, а в другие минуты становился всеми, его тревога утихала, чужие мысли текли тяжелыми каплями в его голове, катились изо рта,

мы не чумные, Латекс вытянул руки и грустно смотрел на них: «У меня шестеро, понимаете, старшему семь лет, и я в жизни не поднял на них руку».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.